

М. М. Пришвин

ДОРОГА К ДРУГУ

Дневники

Ленинград
«Детская литература»
1982

Р 2
П 77

Составитель А. Григорьев

Послесловие И. Мотяшова

Рисунки
В. Звонцова

П $\frac{4803010102-114}{М101(03)-82}$ 316–82

© Издательство «Детская литература», 1978 г.

Да, многих из вас, друзья,
тогда и на свете не было,
когда я писателем делался,
но мои тетрадки есть мое
оправдание, суд моей совести
над делом жизни: они
ответят, хорошим ли мастером
ты был, делал ли больше
в своем мастерстве, чем
это нужно только себе, —
все равно, — писатель ты или
сапожник Цыганок
из Марьиной рощи.

От холода все остановилось, и в особенности это заметно на липах: листья кучками вышли из почек и не расходятся. Но мне так хорошо теперь идти по лесной тропе! Мне кажется, все существа в природе остановились и обратили на меня внимание, и все, советуясь друг с другом, по-своему говорят:

— Подождем старика, пусть он нас догоняет!

Вот почему я всегда так хорошо себя чувствую в майские холода, весна в ожидании меня задерживается, позволяя мне поближе к ней подойти. ЕСТЬ У МЕНЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ СВОЯ СОБСТВЕННАЯ МЫСЛЬ, И Я ЗНАЮ, НЕ БЕЗ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ СЕБЯ ОНИ МЕНЯ ПОДЖИДАЮТ.

Мне хочется им сказать, что здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или в спине. Конечно, слов нет, хорошо человеку, если у него все это тоже здорово, как у быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья — это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон: раз мне — то должно и всем хорошо!

Если поблизости нет человека, чтобы вместе порадоваться, то один пишет другому письмо или поет ему песенку. Так здоровый человек встречает весну, хотя пусть он на костылях или ему много лет и за молодым бежать он не может.

Это нужно понять молодым, что, при утрате чего-нибудь внешнего в человеческом здоровье, образуется внутри его какая-то замена, и часто замена эта ведет его к такому лучшему, что о старом он не горюет и молодым не завидует.

Так и в лесу в майские холода мне кажется, что молодежь мысль мою о человеческом здоровье понимает и все останавливается и поджидает меня, чтобы я об этом сказал.

Так скажу о себе (уже пятьдесят лет пишу!), что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветочки из них вырастают с золотым солнышком в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками. Итак, если представить себе, что человек, распадаясь после конца, становится основанием видов животных, растений и цветов, то окажется, что от Пришвина остались незабудки.

Чудесно наше искусство слова, и нет ничего, по-моему, прекраснее, как работать в лесу, где-нибудь сидя на пне. Теперь у меня в лесу уже многие пни насижены, и собака моя Жулька, добежав впереди меня до знакомого пня, останавливается и ждет, и я ее понимаю. «Дальше пойдем, — спрашивает она меня, — или тут будем писать?»

— Будем писать! — сказал я в этот раз.

И устроился.

ОБРАЩЕНИЕ К ДРУГУ

Где ты, мой друг, за долами и за синими морями? Или ты был у меня, и это я тебя зову из прошлого, или надеюсь увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось все свое тебе рассказать, во всем с тобой посоветоваться.

Сегодня такое солнце, что я вспомнил всю радость свою, как вышла она мне на один только день в Люксембургском парке. Не было тогда еще в поэзии строк, отвечающих моей радости, но за годы моего отчаяния стих родился: «Мир есть луч от лика друга, все иное тень его».

Сколько за день было на небе тяжелых синих облаков и темных дождевых, сколько раз принимался дождь и опять сияло солнце? Но вот солнце чистое село. Все улеглось, все прошло: и дождь, и солнце, и слезы, и радость бабьего лета.

Мне осталась одна радость, моя тропинка в гору, и там далеко наверху у калитки своим светом горящий куст, свидетельствующий о моем друге.

Поднимаясь золотой тропой к себе в свой дом, я подумал о признанных всеми словах: «Я мыслю — значит, я существую».

— И пусть их, любители, мыслят и существуют, — сказал я. — Много больше я себе друзей наживу, если скажу: «У меня есть друг. я люблю — значит, я существую».

Может быть, ни одна еще синичка осенью при наступлении холодов не постучала носиком в мое окошко безответно: я или пущу ее погреться, или посыплю ей в форточку семечек.

Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные...



ДНЕВНИК

Дневник писателя я понимаю как источник, вытекающий из самой души человека.

Человек, который замечает свои поступки и про себя их обсуждает, — это не всякий человек. А человек, который живет и все за собой записывает, — это редкость, это писатель. Так жить, чтобы оставаться нормальным и быть с виду как все и в то же время все за собой замечать и записывать, — до крайности трудно, гораздо труднее, чем высоко над землей ходить по канату...

Говорили о дневниках Толстого и нашли в них общее с моими в том смысле, что эти дневники пишутся с целью самопознания и что процесс писания таких дневников есть разговор с самим собой.

Сила и слава таких дневников в том, что они пишутся по необходимости роста сознания и только для этого...

Мыслить — значит, как синичка, бегать по стволу дерева и вверх и вниз головой и прыгать туда и сюда с веточки на веточку.

Движение во все стороны есть одно из необходимых условий существа мысли...

Дневник — это средство привлечь к себе приток материалов из жизни на помощь всем, кто что-нибудь делает. Дневник — это способ сосредоточиться на чем-нибудь и привлечь его из жизни

к себе на помощь. Старушка сосредоточивается, когда вяжет чулок, писатель—когда пишет дневник.

Кто-нибудь со стороны вас спросит:

— Ну, что вы об этом скажете?

Вы отвечаете:

— Позвольте мне об этом немного подумать.

И вот этот самый отпуск на время к себе самому, чтобы сосредоточиться, определиться, самому разобраться, найти смысл проходящему времени, — и есть то, что мы называем дневником.

Мое заветное желание — это записать за собой, как я сделал то или это. Желание совершенно недостижимое, потому что достигнуть полного опознания своего таланта — это значит съесть самого себя. Но я могу что-то сделать в этом отношении: могу издали, прячась в кустах, выглядывая, следить... Может быть, для этого нужен только талант? Да, конечно, — талант следопыта.

Но зачем все о себе и себе... неопытному человеку может показаться, будто я действительно о себе это пишу, о себе, какой есть, — нет, нет! это «я» мое — часть великого мирового «Я», оно может свободно превращаться в того или другого человека, облекаться той или иной плотью.

...Настоящее писательство, впрочем, всегда вне себя и всегда не от «я», а от «мы» («Мы с тобой»).

В искусстве слова необходимо познать себя и это самое представить как узнанное в другом.

Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их.

Мое «я» в дневнике должно быть таким же, как и в художественном произведении, то есть глядеться в зеркало вечности, выступать всегда победителем текущего времени.

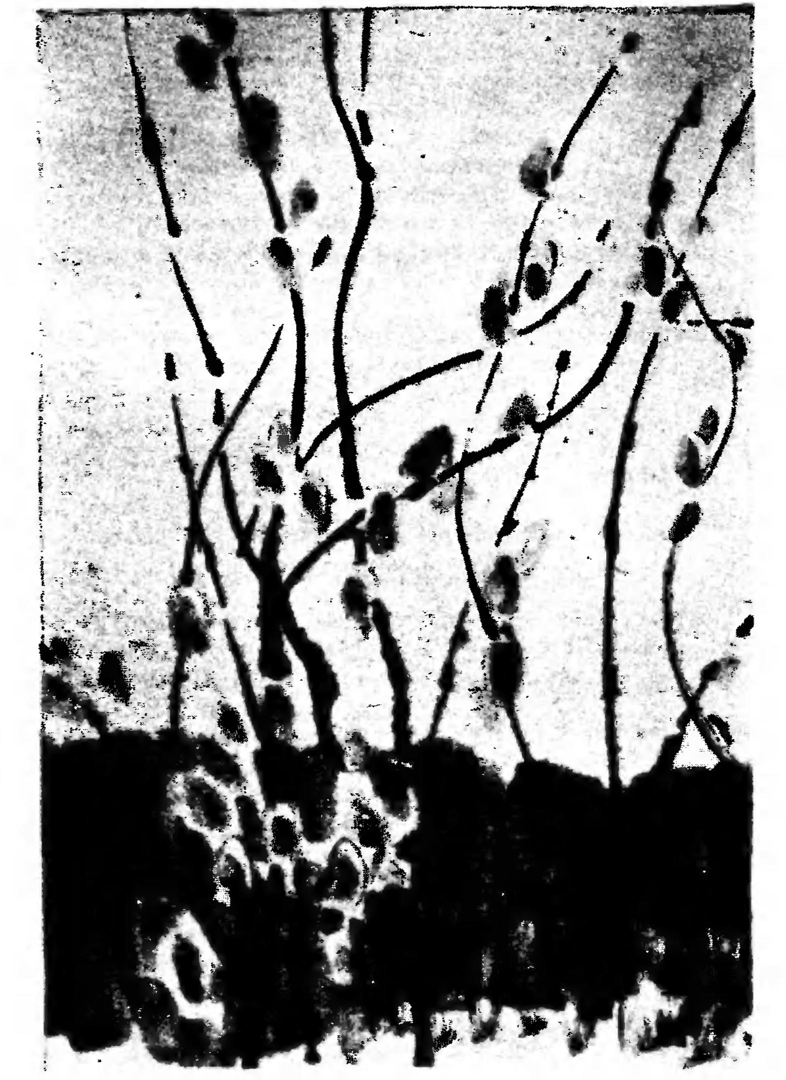
Хорошо бы научиться писать дневники... новеллами, или в крайнем случае хоть бы сюжетами, или даже намеками на сюжет.

Отвращение к учительству. Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться.

Повесть моя зарастает, и я думаю: не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду?

Это «превосходство» я отношу не к таланту своему, а к особой моей вере в жизнь, вере, может быть, простака, в то, что в ж и з н и содержится в с е.

Если бы не эта вера, я бы мог сделаться поэтом и романистом, но эта вера приковала меня исключительно к своим личным переживаниям: я работал по своему дарованию как художник, а по вере и честности — как ученый. Очень возможно, что эти записи в том виде, как они есть, ценней, чем если бы взять их как материал для поэмы: никто не может создать такой поэмы, которая могла бы убедить в ценности жизни человеческой, как эти записи.



ВЕСНА СВЕТА

Это мое счастье — радоваться солнцу так сильно.

В Москве уже лет тридцать и больше я наблюдаю чудесное время, названное мною весной света, когда первый воробей запоет по-своему в стенной печурке, желоб высунет из себя ледяной язык, и с него закапает, и поперек тротуара побежит первый маленький ручей.

После великих событий нового времени я заметил, что люди много любовнее стали относиться к весне света, и многие даже впервые поняли великую прелесть этого времени. Лет пятьдесят я уже веду пропаганду весны света.

Восемнадцатого января утром было минус 20, а среди дня с крыш капало. Этот день весь с утра до ночи как бы цвел и блестел, как кристалл. Ели, засыпанные снегом, стояли как алебастровые и весь день сменяли цвет от розового до голубого. На небе долго провисал обрывок бледного месяца, внизу же, по горизонту, распределялись цвета. Все в этом первом дне весны света было прекрасно, и мы провели его на охоте.

Не первый увиденный грач весной самое главное, не скворец, а главное — это чтобы нога твоя встретилась с землей: вот как только ступил своей ногой на то место, где показалась земля, — сразу и почувствуешь все, и все весны, какие были у тебя раньше, соединятся, и ты обрадуешься.



Опять над Москвой в солнечных лучах поднимаются дымы, как крем и безе со сбитыми сливками, и чирикают воробьи, весна света, и мимозы на улицах.

День за днем такие сверкают, что и во сне не приснится. Запрыгали девочки на веревочке. Свет в Москве обнимает человека и несет. Дома сверкают на свету и радуются тени: свет и тени — все хорошо!

Вчера весь день — и солнце село, все было в сиянии, все было, как осанна! И весь день по ярко-белому в звездах и голубому ходили мы по земле, как в небесах.

Весной, как бы ни было плохо в природе, какой бы ни был тусклый день, — все равно весь день так не простоит и переменится к лучшему: тебе тут делать нечего, садись в седло, сложи поводья и знай, что приедешь к хорошему. Осенью другое дело, тут все зависит от тебя самого: какое ты запас богатство, как ты его в себе доберег...

Было время — я ездил, ехать мне теперь не нужно: природа сама едет ко мне. Вот она уже нашла меня и в Москве: началась весна света, и в полдень

от железных крыш начинается капель и растут февральские сосульки. Каждый год весна приходит по-иному, и я о новой весне уже начинаю делать свои записи. Каждая весна другая, и по-другому записи. Из этих записей вырастают все мои рассказы, новеллы, повести.



До солнца леса оделись инеем, и, когда солнце взошло, некоторые крупные кристаллы инея на деревьях загорелись, и так ярко, что нельзя было отличить от них забытую электрическую лампочку.

Тишина, мороз, свет, аромат мороза и солнца, торжество.

Так до самого апреля оставалась весна света...

В Москве на Москве-реке под мостом в воде целый день вниз головой движутся люди.

Окно с утра непроницаемо-матовое, и по матовому сверху устремляются вниз капельные ручейки, и сквозь них блестит золото наступающего дня весны света.

Пусть же нельзя мне туда, пусть там царствуют. Я знаю, меня там не забудут, и до меня это дойдет, и тоже поднимет, и унесет куда-нибудь.

Вместо февральских метелей стоят мартовские солнечные дни весны света. Я не знаю, что может быть лучше на свете множества людей, залитых солнцем, протекающих где-нибудь через площадь из одной большой улицы в другую.

За окном моим под черной железной планкой балкона привесились четыре большие, тяжелые светящиеся капли и светят мне как посланники весны, и говорят мне по-своему, на понятном только мне языке:

— Мы, посланники этой новой весны, приветствуем тебя, старого посланника своих отцов и дедов, и просим тебя — старого человека: возьми нас и покажи нас людям молодым, рожденным любить этой новой весной.

Милый свет утренний, когда люди все спят, это весеннее, это весеннее! Тут свет один с тобой, он твой близкий, единственный друг, начинает с тобой новое дело...



РАДОСТЬ

Дело жизни, назначение ее — радость.

Л. Н. Толстой
Дневник. 15.IX. 1889 г.

В лесу группа березок чем-то вдруг остановила меня, как будто им надо было мне о чем-то сказать. И когда я остановился и стал думать, что же это было, и, разбираясь, огляделся вокруг, то увидел: белый снег в лесу везде был с синеватым оттенком, холодным и чуждым человеческой жизни, а березки были тоже белые, но в их белом был чуть-чуть желтоватый и даже розовый, теплый оттенок, и вот чем остановили меня березки и что мне они хотели сказать:

— Не горюй, старичок, в синих снегах, — еще будет у нас весна, и мы с тобой вместе раскроемся. Приходи к нам на тягу с ружьем. Придешь?

— Непременно приду! — сказал я березкам.

И зимой в солнечный день весь наполнился радостью, как наполняется соком береза ранней весной.

Зорька нежнее щечки младенца, и в тиши неслышно падает и тукает редко и мерно капля на балконе... Из глубины встает и выходит восхищенный человек с приветствием пролетающей птичке: «Здравствуй, дорогая!» И она ему отвечает.

Она всех приветствует, но понимает приветствие птички только человек восхищенный.

Среди желтой акации затерялось летом деревце ольхи, и теперь вдруг среди желтого отделялось совершенно еще зелеными листьями. Сегодня на ветру эти зеленые листики в одной кучке тесно собрались и, как в кукольном театре, сидят за столом в оживленной беседе, они вместе и пьют, и поют, и целуются, и дерутся.

Вглядишься в них, и, как в театре, очень понравится, и подумаешь: а вообще сколько веселья дано людям на свете, как они хорошо живут.

Радости жизни нельзя навсегда удержать у себя: радость приходит и уходит, как гость. Но этот чудесный гость у хороших людей оставляет после себя благодарность, и ею создается, ею питается продолжение жизни...

Точно, как вчера, погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная.

Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая — в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности.

И вот в это чудесное утро благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками, и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека: за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу.

...Сегодня как после тяжелой болезни произошло преображение мира: солнце и небо, как

наводнение радости. И те птички серые, дождевички, в раздумье сидят на столбиках...

В мыслях у людей бывают сомнения, предваряющие утверждение: человек сомневается лично, а к людям приходит уже со своим утверждением. Так точно и в жизни у людей бывают постоянно несчастья, и сильные люди переносят их легко, скрывая от людей, как сомнения.

Но когда после удачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не только для себя, а годится для всех. И радостный, счастливый человек бьет в барабан.

Так, сомнения, неудачи, несчастья, уродства — все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека — это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения.

Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения.

Вчера проводил под вечер Л. в Москву, и после дождя вышло солнце. В березовом лесу по оврагу к реке я вдруг почувствовал, что эти березы теперь полны сока и довольно одного горячего дня, чтобы человек среди них над собой почувствовал зеленую сень.

Но я сейчас не тому радовался.

Бывает, неустройство в природе так действует на душу, что русский человек чувствует себя самого как бы виноватым во всем. И правда: все мы не привыкли бороться. Он так, русский человек, и живет и множится, как бы с виною в душе. И вот приходит какой-то час: то ли это, что солнце садится, то ли это горит река в вечерних лучах, то ли, что белые, особенно живо белые, березки полны сока, то ли, может быть, сверху даже откуда-то с поломанной грачами ветки березы прямо и капнуло соком на лицо, но только в этот миг вдруг наплывает в душу радость, как березовый сок, и это приходит как будто не от себя, а оттуда, как радостный шепот самой березовой рощи.

Чувствуешь тогда, что не ты сам, во всем виноватый, в вечной работе, сотворил себе радость, а она помимо тебя сама сделалась нерукотворно там, где десятки лет тому назад вешние воды тронули молодые березы и они выросли, поднялись, как шеи лебедей над родимым оврагом.

Радость приходит оттого, что там, где-то за пределами моей души, что-то само собой делается очень хорошее, и мне достается без моего вековечного труда, без моих заслуг и усилий, и значит, если я и умру когда-нибудь, то кто-нибудь за меня на земле будет радоваться жизни у этого оврага с лебедиными шеями.

Если взять сочную грушу и запустить в нее зубы, — нет! зачем я, пусть это впилась в нее и захлебнулась в сладком соку молодая красавица восемнадцати лет. Так вот надо нам так радостью жизни захлебнуться, чтобы хорошо написать.

Думаю, что и тот, кто о жизни написал самые мрачные строки, лелеял в душе своей такой великий праздник, перед которым вся обычная жизнь

наша с грушей и девушкой одна суета. Вот эта труднейшая культура праздника всего мира и есть школа художника.

...Все цветет. Так все роскошно вокруг и так много всего, что душа моя — глиняный кувшин — не вмещает, и все льется через край из моего кувшина.

Совсем весна, льет с крыш, и в небе есть такие светлые луговинки голубые, и по ним все бегут, бегут облака, как и мы, бывает: придет радость — замереть бы, принять, а мы бежим!

Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка, и кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость...

Вот почему я *выхожу из себя* и записываю сегодня для всех: «Зеленеет дорожка, друзья мои!».

Есть радость, когда никого не надо и ею насыщаешься сам в одиночку. Есть радость, когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим, и без друга почему-то эта радость не в радость и может даже обратиться в тоску.



ВНИМАНИЕ

Внимание есть основная сила творчества.

...Вышел на улицу без всякого дела и поехал по метро в город. И вдруг мелькнуло мне знакомое чувство счастья своей личной свободы на мгновение: кажется, будто я владею мгновением жизни своей в толпе, как часто у меня бывает в лесу.

«А разве, — подумал я, — и человеческая толпа не загадочна в жизни своей, как и лес». И я вдруг обратил это свое чудное внимание к жизни минуты.

Время летит, моргнуть не успел, а вон акация уже в зеленых стручках, и расцвели все ирисы, и много раскрытых цветов на жасминах.

Погода сегодня оранжерейная после дождика, небо закрыто, и тихо, листик не шелохнется, и тепло, только если не жарко. День задумчивый и раздумчивый, когда внимание рождает необычайные откровения обыкновенных неоткровенных существ.

Вчера на восходе была такая тишина, что даже и щекой не уловишь, не почувствуешь, тишина была тише своего дыхания. Но с какой-то стороны по-своему что-то чуть дышало на лес, и оттого березки там густо убирались инеем. А здесь, на другой стороне, инея не было. И я понял, что не солнце, как думалось, определяет, где наседать инею и где сучку оставаться голым, а это делает

утреннее дыханье, такое слабое, что даже и щекой не улавливаешь.

29 января 1951 года. Понедельник. Мороз с —25 упал на —10. Солнце, как месяц, не больно смотреть, и снег летит редкий и спокойный, и в лесу, как всегда: снег летит в тишине, а сам думаешь — от меня эта тишина, я не слышу, и по снегу вижу и знаю, не так он летит: кто-то его слушает.

В молодости, когда слух был острее, я дослушивался так до шепотов снежинок между собою.

...Временами я вхожу в полосу такого пристального внимания, что замечаю все, даже у старушки с задранным носом пуговицу, висящую на ниточке. В таком состоянии я пробовал записывать в лесу все, что вижу, и всегда из этого выходила картина...

Удалось слышать, как мышь под снегом грызла корешок.

Молодой снег и тепло. Я шел по улице и находил в себе шаг внимания, когда так шагаешь тихо и мерно, что тело свое не мешает вниманию при усилии передвижения.

Это и на лодке бывает, на самой легонькой, парусиновой, с одним двухлопастным веслом: найдешь необходимое движение, забудешься, и душа, как стрекоза голубая, летает низко над волной, над травами, цветами.

Тогда, если взять книжку и быстро записывать, то нужно только успевать записывать, и все потом это годится. Так находят



и выписывают свою правду натуры художники.

Внимание — это основной питательный орган души. Каждый может заметить в себе, как внимание схватывает что-нибудь особенное, складывает его и оно хранится, ничуть не обременяя память. Просто говоря, мы о нем ничего не думаем до встречи внимания с чем-то, вызывающим мысль из состояния, подобного «спящей почке» в растении.

Тогда мгновенно то и другое между собою соединяется, и эта находка сознания иногда бывает такой яркой, что человек хлопает себя по лбу и говорит сам себе вслух:

— Так вот оно что!

Внимание есть питательный орган души — всякой души одинаково, великой и маленькой. Разница только в том, что при находке великий человек возденет руки с благодарностью, а маленький человек щелкнет пальцами, присвистнет и побежит за добычей.



Опавшие листья уже запахли пряниками. Редки белые грибы, но зато как найдешь, так и набросишься на них коршуном, срежешь и вспомнишь, что обещался, увидев, не сразу срезать, а полюбоваться.

Опять обещался и опять забыл.

Один грибник приходит с мелкими грибами, другой — с крупными. Один внимательный и, пользуясь силой внимания, видит грибы. Другой мелочи не видит возле себя, и не он направляет на гриб внимание, а сам гриб, большой, как лампа, обращает на себя его внимание. У таких грибников большинство грибов — крупные.

Грибы — это школа внимания. Доходит до того, что кажется, будто от силы внимания и рождаются грибы.

Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет.

Вошел в мокрый лес. Капля с высокой елки упала на папоротники, окружавшие плотно дерево. От капли папоротник дрогнул, и я на это обратил внимание. А после того и ствол старого дерева с такими морщинами, как будто по нему плуг пахал, и живые папоротники, такие чуткие, что от одной капли склоняются и шепчут что-то друг другу, и вокруг плотный ковер заячьей капусты — все расположилось в порядке, образующем картину.



И передо мной встал старый вопрос: что́ это создало передо мной картину в лесу, — капля, упавшая на папорот-

ник, обратила мое творческое внимание, или благодаря порядку в душе моей все расположилось в порядке, образующем картину? Я думаю, что в основе было счастье порядка в душе в это утро, а упавшая капля обратила мое внимание, и внутренний порядок вызвал картину, то есть расположение внешних предметов в соответствии с внутренним порядком.

Вчера смотрел на лес за решеткой Юсуповского дворца и чары решетки понял из обрамления: нужно обрамить смотримое. Так что решетка и обрамление есть то же, что «сосредоточить на чем-то внимание». Чары «решетки» есть свойство внимания.

Творческое внимание состоит в том, что внимающий «всему» вводит это «все» в рамку, благодаря чему устраненное ограничением «все» вмещается в частное, и это частное через художника получает законное право отвечать за целое. Так что внимание есть вмещение целого в часть, вселенной — в сверкающую росинку утреннего ириса.

Каждый из нас, желая увидеть лучше в природе что-нибудь свое любимое, сосредоточивает на нем внимание и мысленно выделяет его границами: видит только его. Из этого свойства каждого из нас сделана ограда или

решетка, сосредоточивающая наше внимание на ограждении природы.

У меня сегодня *жадное* внимание, то и дело я выхожу из себя наружу и там, соединяясь с чем-нибудь близким, несу его обратно к себе внутрь, как свое.

Есть другая, тоже творческая способность освоения — это на то, что не подлежит освоению, не обращать внимания.

Вернуться к молчанию в том смысле, что говорить для себя, а молчать от внимания к другому. Просить молчания — значит просить внимания к человеку.

Разговор выявляет свое первенство, а *внимание рождает друзей*. Вот почему разговор серебро, а молчание золото.

Как материя и энергия сводятся в конце концов к единому источнику — жизни, так и все виды талантов сводятся к единому источнику творческого внимания.

Когда ум и доброта соединяются в душе в единство внимания к чему-либо, то это любовь, и весь вопрос у доброго и умного человека сводится к тому — кого же ему любить?





МАТЬ

Ночью видел себя вырастающим из своей матери: она как земля, я как дерево...

Дети, все дети, и вы, настоящие наши физические дети, и те взрослые, пожилые и вовсе старики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка!

Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы нашей матери. Все мы вышли из тьмы, и все мы движемся к свету, вместе с нами совсем рядом из темной земли поднимаются к солнцу деревья, былинки, соломинки, цветы и вместе с нами живут.

Теплый пар продожденной, измученной холодной земли даже и в Москве можно понять.

После обеда мы выехали и на полпути поставили машину к обочине, сели на опушке леса. Все летние птички пели, и все пахло. Мне было так, будто вся природа спит, как любящая мать, а я проснулся и хожу тихонько, чтобы ее не разбудить.

Но она спит сейчас тем самым сном, как любящая мать, спит и во сне по-своему все знает про меня, что вот я запер со стуком машину, перепрыгнул через канаву и теперь молча сижу, а она встревожена — куда он делся, что с ним.

Вот я кашлянул — и она успокоилась: где-то сидит, может быть кушает, может быть мечтает.

— Спи-спи, — отвечаю я потихоньку, — не беспокойся!

Кукушка далеко отозвалась, и эта кукушка, и

зяблики, и цвет земляники, и кукушкины слезки, и вся эта травка так знакомы с детства, все, все на свете — сон моей матери.

А может быть, вся природа вокруг меня — это сон? Это кто-то спит... Везде и всюду, в лесу, на реке, в полях, и на дороге, и в звездах, и на заре вечерней, и на утренней — все это — кто-то спит. И я всегда как «выхожу один я на дорогу». Но спит это существо «не тем холодным сном могилы», а как спит моя мать. Спит и слышит меня.

Так и вся наша мать — природа, и я ее младенец. Меня она чувствует, и слышит во сне, и, по-своему все понимая, знает, и тоже бывает, вдруг привидится ей, что я попал в страшную беду.

Тогда моя мать поднимается, и в природе начинается гроза.

Василий Иванович Некачалов, кот мой, запертый в машине, глаз не спускает с меня: не он ли это доносит туда, к сердцу матери-природы, что ее маленький Миша проснулся и ходит; а кукушки, зяблики и подкрапивнички — все, что собралось около меня, разве это не уши, не глаза, не чувства моей спящей матери?

Матушка, дорогая, спи-спи еще больше, еще лучше. Тебе так хорошо, ты улыбаешься! Начался теплый июнь, трава поднимается, рожь колосится, довольно, довольно ты мне всего дала, спи, отдыхай, а мы позаботимся.

Искусство и наука — будто двери из мира природы в мир человеческий: через дверь науки природа входит в мир человека, и через дверь искусства человек уходит в природу, и тут себя сам узнает и называет природу своей матерью.

У женщин души всегда поспевают поздно, помню сестру такой: лет в пятьдесят она стала умной, о матери и говорить нечего: в свои семьдесят пять лет она оставалась ребенком, и ей бы надо было жить непременно за сто. Вот эти нехватившие для зрелости ее души годы я теперь и доживаю.

...Наверно, и рассказы мои восторженные о природе исходили от той же неспелой души. И если теперь в арифметической своей глубокой старости я пишу, как говорят, все лучше и лучше, то, значит, душа моя поспевает, — молодая душа моей матери в старых годах.

...Я так ясно вижу свое писательство, как лучи народной наивной души моей матери.

Сегодня мы пришли в бор, я положил голову свою ей на колени и уснул. А когда проснулся, то она сидела в той же позе, когда я засыпал, глядела на меня, и я узнал в этих глазах не жену, а мать...

Сегодня мне стало вдруг очень понятно это существо — больше моего охвата, и больше всего, и лучше всего, мне известного, это существо — мать.

В вестибюле раздевалась прекрасная женщина, и в это время заплакал ее мальчик. Женщина наклонилась к нему, взяла на руки и целовала его, но как целовала! Не только не улыбалась, не

оглядывалась на людей, а вся, как в музыку, целиком, серьезной и возвышенной, ушла в эти поцелуи. И я близко узнал ее душу.

Мне кажется, величайшую радость жизни, какая только есть на свете, испытывает женщина, встречая своего младенца после мук рождения. Я думаю — эта радость включает в себя ту радость, какую частично испытываем и все мы в своем счастье. Так вот и хочется мысль, найденную для своего обихода [redacted] искусстве о поведении, распространить на всех.

— Ты говоришь, что любовь, но я вижу только терпение и жалость.

— Так это же и есть любовь: терпение и жалость.

— Бог с тобой! Но где же радость и счастье, разве они осуждены оставаться за бортом любви?

— Радость и счастье — это дети любви, но сама любовь, как сила, — это терпение и жалость. И если ты теперь счастлив и радуешься жизни, то благодари за это мать: она жалела тебя и много терпела, чтобы ты вырос и стал счастлив.

Когда-то мальчиком я приезжал в деревню, становился у печки [redacted] весь вечер что-нибудь рассказывал матери о всем, что видел сам, а они не видели.

— Соловей прилетел! — говорила мне, радуясь, мать и спрашивала меня: — Ну, а какие же там деревья растут?

— Там каштаны, — говорил я.

— Цветут?

— Очень хорошо: большие белые елочкой цветы, [redacted] сердцевина красная, как кровь.

— И пахнут?

— Аромат на всю улицу.

— Какие же улицы?

— Узенькие, и немцы в окошках утром кланяются друг другу.

— В колпаках?

— В белых колпаках и [redacted] халатах.

Так можно говорить целые вечера, и в разговоре таком слышится мне музыка: слово за слово, ответ за вопросом, волна за волной. Чудесная музыка! И везде она звучит по всей необъятной стране, во всяком уголке для каждого и у каждого, у кого есть друг, как у меня была мать.

Вот откуда, из каких истоков берутся наши сказки родные, и почему они так долго живут и не проходят: потому что слово это для того и выходит из уст одного, чтобы прилететь к уху другого человека, своего друга.

И эти слова сказывали и сейчас сказывают, а мы, литераторы, стараемся так написать слово, чтобы оно было, как будто оно сказывается.

Так я, слушая сам себя, свою древнюю музыку, я, говорун-соловей, учился делаться литератором. Все было хорошо, музыка устной речи слышалась, но лица друга не было, и не было у меня способности вообразить его так, будто я матери своей говорю. Мне нужно было друга искать, и в том было мое «мастерство», не мастерство, — поведение, и я теперь проповедую и мастерство свое и поведение. Этому я и учился: воображать себе друга, и это учение было не в мастерстве, а в поведении.



ПРИРОДА

Гармония, это когда в природе человек находит соответствие своей душе.

В жаркий парной день войдешь в хвойный лес, под крышу великого дома, и бродишь, бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает: он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы — сморчки — уже прошли. Ландыши? Еще не готовы.

— Не потерял ли ты что-нибудь?

— Да, — отвечаю, — я мысль свою в себе потерял и теперь вот чувствую — сейчас найду, вот тут, в заячьей капусте найду...

Почему я все пишу о животных, о цветах, о лесах, о природе? Многие говорят, что я ограничиваю свой талант, выключая свое внимание к самому человеку.

А пишу я о природе потому, что хочу о хорошем писать, о душах живых, а не мертвых. Но, видимо, талант мой невелик, потому что если о живых людях напишу хорошо, то говорят: «Неправдоподобно!» Не верят, что есть такое добро среди людей.

Если же станешь писать о мертвых человеческих душах, как Гоголь, то хоть и признают р е а л и с т о м, но это признание не дает отрады.

И вот мое открытие: когда свое же человеческое, столь мне знакомое, столь мне привычное добро найдешь у животных, верят все, все хвалят и благодарят, радуются. И так я нашел себе любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой.

На прогулке в лесу Л. высказала между прочим, что ее очень огорчает моя обидчивость, и ранимость, и зависимость духа от мнения руководящих литературой людей.

Мне захотелось подумать об этом покрепче, и я попросил ее набрать к ужину грибов, а сам сел возле дерева, прислонился к нему спиной и стал думать, и в это время глядел и глядел на младенческое деревце можжевельника, величиной с палец, но сформированное, как кипарис.

Вдруг послышались голоса, и молодежь окружила меня, студенты и их девушки присели возле меня отдохнуть. Желая завести с ними какой-нибудь хороший разговор, я указал им на мой можжевельник величиной с палец.

— Примите к сердцу, — сказал, — вот это маленькое деревце, превратите его в свое собственное «я» и с этой точки зрения из себя — можжевельника изучите среду деревца. Вот хотя бы эти два бессмертника, заслоняющие ему на несколько часов каждый день свет с юга: полезны ли они ему или вредны? Подумайте и о том, что тень от самого можжевельника тоже влияет на рост трав сзади него, и какие это травы — теневыносливые или светолюбивые?

Итак, разбирая все, заключите свою композицию победной осенью, когда в конце летней борьбы света и тени за лето макушка можжевельника поднимется на целый сантиметр вверх ближе к солнцу.

— Что же это будет? — спросили студенты.

— Это будет, — ответил я, — картина жизни вселенной в борьбе света и тени с героем всей этой борьбы величиной с палец.

Студенты что-то поняли, чему-то очень обрадовались, выкопали мое деревце, уложили в корзину с грибами и унесли мое деревце, наверно для опыта построения картины вселенной. Я же продолжал сидеть у дерева и думать о слове не со стороны тщеславия, о слове, собирающем незнакомых мне людей в храм природы.

Зачем унывать литератору, если самому можно быть для всех величиной с палец и в то же время быть героем вселенной?

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто — сам виноват.

Чувство природы есть чувство жизни личной, отражаемое в природе: природа — это я. Труднее всего говорить о себе, оттого так и трудно говорить о природе. Только тогда можно сказать о природе, если найдешь и поймешь себя самого, как нечто небывалое.

Конечно, можно и ландыш описывать, но только надо знать, что до конца его все равно не опишешь.

Конечно, можно почувствовать запах ландыша даже с картины, даже из-под пера, но как сам он пахнет — это не сделаешь, до самого ландыша не доберется ни кисть, ни перо. Единственное, что можно сделать художнику, — это добраться до другого человека и своим образом ландыша вызвать его собственное чувство ландыша и его понимание.

Так все образы природы не есть сама природа,

а только средство обмена людей между собой. И значит, если я о природе пишу, то пишу я о самом человеке в его сокровеннейших переживаниях.

Реализм, которым я занимаюсь, есть видение души человека в образах природы.

Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей «Лесной капели» я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и всегда, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж.

— А что же, если не пейзаж, не природа?

— Не знаю, что...

— Так знайте же, это сердечная мысль.

ПЕЙЗАЖЕМ называется совокупность животных, растений, камней и всяких других составных частей природы, отнесенных к личности человека.

Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно, и поставил стакан с купавой против луча.

Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло как солнце, а белые лепестки стали так ярко белы, что неровности бросили синие тени, и я понял весь цветок, как отображение солнца на небе.

Долго я смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде.

Слабая липа опала вся, но дуб стоит во всем своем осеннем пожаре. Скоро придет время, и дуб весь тоже обвалится. Но березка осенью, самое близкое к человеку дерево, не сразу опадает всей березой, а отдельно, и каждое деревцо уходит от нас по-своему.

Осенью в листопад глаза разбегаются: одна другой лучше березки, и ходишь, и ходишь долго по лесу, выбираешь себе такое дерево, чтобы остановиться возле него и тут стоять до конца, и так-то стоять до тех пор, пока возле самого прекрасного дерева что-то совершенно прекрасное понять навсегда, в этом чего-то достигнуть и успокоиться.

Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так обойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу.



...Сентябрь. Солнце всходило чистое. Окна в морозной росе. Грибы заметно кончаются, остаются одни поганки, мухоморы и свинухи. Зато, бывает, в это время на зеленом мху выдвинется красная сыроежка величиной с чайное блюдечко и с водой. А в воде, как детский кораблик, плавает желтый скрученный листик. Я эту воду не пропускаю и с грибной холодной губы переливаю в свою теплую. И когда пью, бывает со мной в лесной тишине, будто от этой лесной воды и холода губ люди меня забывают и не узнают. И я, оставленный, сажусь на пень, замираю в себе и через это в лесу мне становится все близким и понятным...

Удивительно! Вы знаете, как это удивительно и чудесно бывает в лесу, когда через такое раздумье станешь понимать себя самого, как дерево, а вокруг все будто люди. И знаешь тогда твердо, что все это: деревья, мох, грибы — как люди. Это сказка, но почему же тогда, если выглянешь из себя, то показывается такое, чего никак не заметишь, когда себя считаешь человеком, а лес просто дровами?

Нашли орех, расколотый надвое, как будто его по линеечке пилой резали, и ученые люди думали: какой зверь мог так ровно разделить орех. Белка не могла, от белки скорлупа рваная, соня орешковая, такая маленькая, тем более не могла захватить орех целиком в рот и распилить. Нечего говорить о мышах полевках и землеройках величиной почти в наперсток. Известный зверь ни один не мог распилить орех на две половинки, а может быть, есть какой-нибудь неизвестный? Нет, все звери в лесу нам известны. Тогда пришел простой человек и сказал: «Леший грыз». А когда все засмеялись над его словами, он всех ученых окинул насмешливым взглядом и сказал: «А если неизвестных зверей в лесу нет и в лешего не верите, то ведь нетрудно и догадаться, отчего раскололся орех». — «Отчего?» — «Нажало спелое зерно изнутри. Очень просто: орех сам раскололся».

Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.

На прогулке вчера видел красивейший гриб, похожий на минарет. Любовался им и думал: «Гриб красивейший все называют поганым только за то, что его нельзя съесть».



...Если будет вода и в ней ни одной рыбки — я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка — я не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми — не лес, и жизнь без таящегося в ней слова — все это только материал для кино.

В природе рождается человек, и потому мы часто говорим: мать-природа. В природе человек умирает от нападения на него видимых и невидимых врагов. Значит, природа человеку и мать и злая мачеха.

С этого начались все наши сказки.

У края дороги, среди лиловых колокольчиков цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал записывать, стоя у цветка, одну свою мысль в книжку.

Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился, — оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении.

Но так не бывает! — и чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно качнулась, но все-таки

не слетела. Неужели она умерла на цветке?

Осторожно я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в пальцах, не двигала усиками. Она была мертва.

А когда я стал ее тянуть с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшко бабочки и высасывал ее.

...А мимо проходили дачники и говорили: «Какая природа, какой день, какой воздух, какая гармония!»

Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство гармонии, радости, счастья.

Хорошо в лесу тому, кто только о себе думает, как бы ему тут подышать, отдохнуть, успокоить себя. Но если кто-нибудь выйдет из себя и примет к сердцу своему человеческому жизнь самих деревьев в лесу, сейчас же у него начинается в душе возмущение на хозяина и зачешется рука, чтобы вмешаться в это неразумное хозяйство.

И когда пройдет возмущение, и одумаешься, и вспомнишь, что нет тут хозяина, что все само складывается от ветра, влаги, земли и солнца,



так еще хуже становится, и еще больше захочется вмешаться в дело природы и вывести всю эту лесную жизнь на человеческий путь.

Вычитал в отрывном календаре: «В природе милости нет, человек должен от нее ТРЕБОВАТЬ не милости, а...» (Мичурин).

В природе нет милости к человеку: нечего ждать от нее милости. Человек должен бороться с ней и БЫТЬ МИЛОСТИВЫМ, И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ, раз он является ее царем-победителем (Пришвин).

Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека, владеющая словом, вышла ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРИРОДЫ и теперь больше и дальше ее.

Только оглянувшись назад в свое прошлое, человек в зеркале своем видит свою собственную природу.

На ночь опять вернулась невыразимая мысль всей жизни... что сам человек тем только и человек, что соединяет в себе все, что есть в природе, расставляет эти свои части на места, и когда это верно приходится — все на места — то нечто достигается новое в жизни, называемое по-разному: культурой, прогрессом, творчеством, и тогда вся природа включается в человека.

К природе нельзя подойти без ничего, потому что слабого она сию же минуту берет в плен и разлагает, поселяя в душу множество грызущих червей. Природа любит пахаря, певца и охотника.



Чувство природы оценивается только силой. Если это слабое чувство, то оно является чем-то вроде вкусного соуса любующихся дачников, если же оно сильное чувство, то всегда имеет косвенное отношение к другому человеку.

В лес вы идете за дровами, за грибами, за ягодами, или только послушать, о чем шепчутся деревья, птицы поют, и поглядеть, как звери выходят на тропы? Вы отвечаете, что идете в лес для него самого: хотите лес понять, каким он есть сам по себе.

А человек — разве это еще не больше, не таинственней леса? Так идите же к человеку тоже не за чем-нибудь, а к нему самому.

Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени: было маленькое семя ели, это семя раскрыло теперь все заложенные в него возможности, и по срезу огромного ствола я считаю годовые круги.

В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева: из нас тот высший человек, кто лучше

всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.

Человек растет, конечно, как и все в природе, костями, телом и в то же время, как бы отступая от жизни роста, спрашивает постоянно сам себя: «Ну, что же это со мной произошло?» И, осмыслив происшедшее, надбавляет к жизни роста своего рост мысли: мыслью растет. Но и этот рост еще не совсем человеческий: щенок тоже растет, расширяя рост своего собачьего сознания.

Человек собственно начинается там, где в природе останавливается жизнь роста: тут начинается рост духовный, чисто человеческий, и продолжает у достойных расти до последней минуты. И в духе этого человека растут люди после него.

Талант не делается, с талантом рождаются, и это есть то же самое, что у животных называют «инстинктом». Наверно, каждый рождается с каким-то талантом. Когда я напал на свой талант, на эту способность все постигать, минуя ученье, я обратился к солнцу, как к источнику жизни, и прославил природу.

Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца, сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры.

Не один человек, но вся природа и в ней каждый род, даже род атомов, протонов и всяких еще более

мелких частиц материи, таит в себе носителя лица. В материи нет ничего мертвого, в ней все живое.

В одном музее я заметил венецианскую люстру, похожую на цветок, но такой совершенной формы, какой не бывает в природе и какую мог создать только человек. А бывает, усталый где-нибудь присядешь на опушке леса и влюбишься в какой-нибудь простейший цветок вроде полевой незабудки, и думаешь, разглядывая его проникновенно, что никакой человек не создавал и не создаст такой живой красоты.

Придет зима — вернешься к люстре: в хрустальных лепестках загораются огоньки, и тогда опять думаешь: «Нет, такой совершенной формы не существует в природе!»

Но как же незабудка-то летняя?

И, вспомнив ее, спрашиваешь: «Где она теперь?» И сам себе отвечаешь: «Глубоко под снегом лежат ее истлевшие листочки, и не найдешь их новой весной, и не заменит ее новым летом новый цветок». Напротив, встретив другой, подобный, я загрущу, и отвернусь, и скажу:

— Дайте мне ту мою единственную незабудку, только тогда я и тебе, моя хорошая, тоже обрадуюсь!

Прелесть живого цветка подчеркнута непременной и близкой смертью его. Своей красотой он как бы обращается ко мне словами:

«Возьми меня, человек, я тебе отдаюсь и вверяюсь, возьми и спаси меня от неминучей смерти».

И вот какой-то человек взял смертный цветок и создал бессмертный из хрусталя.

Пусть он умирает — все равно он не умирает: даже в обломках его остается победное усилие человека на пути к бессмертию.

Деревья опадают, животные линяют, и человек тоже страдает.

Человек семидесяти пяти лет, его жизнь на волоске, а он сажает сирень! И мало того, он не один, и, может быть, не было времени, когда бы так страстно хватались люди за растения: все, кто может, сажают сады.

Это значит, во-первых, что люди живут все как бессмертные, презирая свое знание смерти; во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно сад.

Никогда не поздно посадить деревце: пусть плоды не себе достанутся, но радость жизни начинается с раскрытием первой почки посаженного растения.

Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от ударов. Я слышу дыхание лилового колокольчика. Я его люблю. Он связан со мной. И через любовь мою к цветку я связан со всем великим миром.

Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению, и спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения: одному это дрова и стройматериалы, другому — цветы и пенье птиц, третьему — небо, четвертому — воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все.

Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес, мы почувствовали к природе во время войны, и как мы это почувствовали, общий интерес: это родина, дом наш.

Природа явилась нам как родина, и родина-мать обратилась в отечество.

Я стою и расту — я растение.

Я стою, и расту, и хожу — я животное.

Я стою, и расту, и хожу, и мыслю — я человек.

Я стою и чувствую: земля под моими ногами, вся земля.

Опираясь на землю, я поднимаюсь: и надо мною небо — все небо мое.

И начинается симфония Бетховена, и тема ее: все небо — мое.



О СОБАКЕ

Надо учиться уважать явления жизни животных.

Мои молодые товарищи! Хочу я вам опять рассказать о своей собаке, но вперед говорю: не думайте, что так-таки в этом и есть спасение — собаку завести и взять ружье. Нет, можно охотиться с фотоаппаратом, с микроскопом, с записной книжкой и как угодно, лишь бы в природе быть и работать в охоту, а не в одну только заботу.

Мой лечащий врач N очень правдива и дельная, но ужасно, недопустимо необразованна. Я прошлый год подарил ей свою книгу «Жень-шень». Теперь она призналась, что не прочла: «Десятки раз принималась и все бросала, плачу, а читать не могу».

— Вы, наверное, — сказал я, — собак не любите?

— Собак терпеть не могу.

— Все понятно, — ответил я, — кто собак не любит, то почему-то всегда не любит и моих рассказов.

И рассказал ей, как одна женщина, жена моего ученика, упрекала меня за то, что я пишу о белках, что нужно писать о полезных животных, например, о коровах.

— Вот, — сказал я N, — она тоже не любила и собак.

Ничего бы я не имел против возражения полезностью, если б не знал твердо, что все эти,

вопиющие к полезности, бросают все на свете, когда находят подходящую себе литературу: бульварные романы о небывалом, отрывающие их от повседневности и уносящие в иные миры...

— Но я вас так люблю, так уважаю, — сказала докторша, — мне так искренно хочется понимать все написанное вами.

— Попробуйте, — посоветовал я, — заведите себе собачку. И без шуток. Лев Толстой сказал, что собаки его кое-чему научили.

Земля трудом человека не насытится, сколько ни трудись, все как будто кто-то смотрит на тебя и ждет усилия особенного [redacted] понимании.

В тревоге без памяти отдаемся труду до изнеможения, [redacted] собачка сидит рядом и глазами своими говорит: «Брось пустяки, не вертись, пойми, [redacted] потом делай, пойми сразу и начинай!»

Самая пустая собачонка, [redacted] вот как трудно забыть эти глаза...

Все собаки в народе разделяются на умных и глупых: умные собаки, злые, любят только одного хозяина, а других людей к себе не подпускают. Глупая собака любит всех людей, всем доверяет и предпочитает хозяина другим только

потому, что она ему отдана, как Татьяна своему генералу.

Подбор таких собак, по-моему, происходит не случайно... У меня есть основание, почему я предпочитаю собаку, любящую не одного меня, а всего человека: я сам точно так веду себя в отношении моих близких глупо и требую тоже от них, чтобы моя персона не заслоняла собой всего человека и они бы тоже не застилали мне свет солнца.

Мало того, только в таких отношениях я понимаю свободу, [redacted] эгоистов с их злыми собаками считаю убийцами духа.

Вот почему я бессознательно подбираю себе собак благороднейших, способных возвышаться над собачьими инстинктами, и не обращаю никакого внимания на то, что их считают шалавыми. И наша дружба с такими собаками вообще является как следствие общего великого душевного переживания, радости не дома, [redacted] в полях и в лесах.

И потому всех собак я разделяю не на умных и глупых, а на домашних злых и чисто охотничьих, с раскрытой душой ко всему человеку.

Я понимаю, если собака моя ложится на пол и прижимается непременно к



моей ноге, это для того, чтобы во время ее сна я не ушел. Понимаю ее, как собаку. Но если ночью, когда идти некуда, она проснулась, ей стало не по себе почему-то, и она, взяв зубами свой тюфячок, подтащила к моей кровати на другой стороне комнаты, и уснула, и была довольна, что спала не с печкой, а рядом с человеком, — это у нее человеческое чувство одиночества и жажды близости, и это от человека у нее.

Жулька едва поднимается и на ходу падает с грохотом костей на полу... У нее грустные глазки, она безотказна в наших требованиях: сама не ест, но если в рот кладем — жует и проглатывает. В ней совершенно отсутствует эгоизм умирающих. Она прекрасна в умирании, как поздняя осень.

Я долго сижу возле нее, она глядит, и если я улыбнусь и скажу весело «Жулька!» — она еле заметно ответит хвостом.



С Жулькой простился, сохранив навсегда ■ памяти ее прощальный вид. Поняв по моим шагам в сапогах, что я собираюсь, она заволновалась, забилась и с большим трудом подняла голову, но держать прямо ее не могла и качала мне головой вверх и вниз, то поднимая ее, то опуская, глаза же были расширены,

насколько это было возможно, отчего получалось выражение как бы дружеского ужаса, каким любящий, побеждая на мгновение смерть, глядит на любимого.

Как только я к ней подошел, она уронила голову на подушку и смотрела на меня снизу одним полузакрытым глазом, вспоминающим, все помнящим, и я его вижу сейчас, и он останется со мной навсегда...

Итак, Жулька страдала за близость свою к человеку.

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада, — сказал я, — надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла ■ ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу ■ пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

Джали не хуже покойницы Жизели на охоте, пожалуй, даже и лучше. А по красоте, по глазам, по своему трехцветному оперению даже и лучше. Но Л. отдала свое сердце Жизели, как единственной, как человеку, и теперь не может вторую собаку любить, как человека. Все делает она, чтобы любить, но заменить найденного ■ собаке человека другой, может быть, и много лучшей собакой не

может. Даже сказать можно, что, любя ту собаку, она поселила в ней человека: сама же сотворила и воплотила его в собаку. Так это чудесно случилось, но повториться не может: в том-то и дело, что дела человеческие на земле остаются, и прибавляются к прежним делам, и повторяются, но сам человек проходит как единственный и неповторимый.

Самая умная из моих собак — это нынешняя Джали. Она все ученье прошла, как будто ее родители всему ее научили, а я только подсказываю.

Одному только я не мог ее научить — это самое легкое для всех собак, что все собаки, даже дворовые, делают с одного разу: это подавать лапку.

Долго я не мог понять, почему это, и вдруг сегодня понял: для этой глупости она слишком умна и сама хорошо это знает.

Я иногда думаю предложить эту догадку, что природа вся со своими обитателями значит (знает) гораздо больше, чем мы думаем, но они не только не могут записать за собой, но даже лишены возможности вымолвить слово.

— Лада, милая собачка, что ты скажешь? Ну, собирайся, друг, шепни одно только человеческое слово — и мы с тобой победим весь мир зла!

Так я не раз говорю своей Ладе, когда она положит мне голову на плечо и страстным хрипом пытается высказать свою признательность и любовь.

...У собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Характер этой любви такой же, как любовь слепцов к молочной матери. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери-природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере и вообще в дикой природе.



ПОЭЗИЯ

Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро.

Вчера мы услышали песенку, поглядели на дерево, а там поползень, эта деловая, вечно занятая птичка, сидел на сучке неподвижно и пел.

Да! Подумать только — поползень пел!

Сегодня поползень на том же сучке сидел с небольшим сухим сучком в носу: вчера пел, а сегодня уже вьет гнездо. Но я был счастлив, что подслушал вчера его песенку.

«Значит, — подумал я, — даже самая суровая, самая строгая правда жизни таит в себе песню или сказку», — и как захотелось тут, чтобы рассказать или спеть ее пал жребий на меня!

Есть поэзия образов — поэзия, есть поэзия понятия — философия, есть поэзия рабочего труда — социализм... Источник поэзии — чувство ритма жизни, который воспринимается как смысл ее, как то, из-за чего стоит жить, трудиться и достигать.

Ранним утром сверкающие капельки росы на всходах овса, на таком молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется под тяжестью тяжелой капли росы, — это удивление вдруг может дать радость труда и понимание его смысла.

К сказкам, поэзии все относятся, как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых

человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая и это так называемую историю?

Бывает, жизнь до того доводит в своей тяготе, что все на свете станет серьезным, пусть в это время встретится сказка, и она, обыкновенная сказка, которой пользуются все для отдыха, выглянет так же серьезно, как вся жизнь в ее целом. И тот, кто в это время сказку серьезно к сердцу принял и стал ею заниматься, — тот вот и есть подлинный поэт.

Так что поэт тем отличается от всех людей, что сказку он сам создает, в то время как все ее лишь потребляют для отдыха, для развлечения. Потребитель вообще живет не всерьез.

Можно восхищаться выходной древесиной: какая чудесная и сколько ее вышло из леса! Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для наших печей.

Вот и поэзия подобна лесу: сложена в строфы, как древесина в кубометры. Но она может быть и поэзией, которая живет в нас и образует нашу душу.

Сколько труда вкладывает человек около хлебного зернышка, и все-таки оно прорастает само, и вся природа в себе так нерукотворна.

Там где-то возле хлебного зернышка и зарождается поэзия. Зерно идет на хлеб, а эта какая-то сила питает души.

Живи с теми же самыми людьми и вещами постоянно, и все равно, если ты поэт, ты должен увидеть их так, будто никогда не видел. Сила первого взгляда есть основная сила поэзии.

В борьбе за себя каждый из нас, как шелковичный червяк, опутывается паутиной, и такие коконы у людей называются привычками. Дело поэта разорвать свой кокон и, вылетев бабочкой, возгласить сидящим в привычках, что время пришло, пора всем вылетать.

...Путь поэзии — это путь открытий (в природе) неведомых стран души человеческой.

Известно, как бывает в поэзии: ты думаешь, а она выходит и никак не из того, о чем ты думаешь, — сама выходит.

Не от думы рождается поэтический образ, но если ты не будешь думать, он не родится.

N спросил меня:

— А как вы представляете себе свободу поэта?

Я же так ответил на вопрос о свободе поэта.

— Вот, — сказал я, — пусть лежит перед нашими глазами целина. Несвободный поэт прежде всего по своему заданию смотрит на эту целину и разбирает, где целина эта поднята и где она не поднята. А свободный поэт обратит внимание на

дроф, летающих над целиной, и понимает по дрофам, что целина, где они прошлый год устраивали свои гнезда, поднята, и им надо искать новые места для своих гнездований. Свободный поэт пишет о дрофах, а читатели думают о поднятой целине.

Так у свободного поэта получается изображение огромного пространства степного, в котором птицы ищут себе место гнездования, а люди само собой совершают свое великое человеческое дело преобразования природы. Несвободный поэт глядит прямо на какой-нибудь шагающий по целине экскаватор, и у него получается степь без пространства.



Писать, глядя в упор на предмет, много легче, и даже совсем без таланта и особого труда над управлением своим талантом можно писать, и эту спо-способность писать без таланта называют мастерством. А свобода поэта состоит ■ великом труде управления своим талантом.

Так я понимаю свободу поэта: у мастера вещи делаются, у поэта рождаются, у мастера только одно мастерство, у поэта талант, мастерство и, главное, поведение. Без особого поведения в отношении таланта не может быть свободного поэта.

— Я тоже так понимаю свободу поэта, — ответил N.

Поэт не свободен в своей поэзии — его держит жизнь, он не свободен и ■ жизни — его держит поэзия.

Сегодня представилось мне, что поэзия питается детством и свойственным детству естественным чувством бессмертия...

В поэзии наша юность хочет перескочить в мудрость.

Юность иногда, как бурный поток достигает большой воды, стремится к мудрости, и этот звучный путь называется поэзией. Поэзия рождается в стремлении юной души к мудрости.

Думал о том, что же ■ конце концов определяет прочность и сохранность во времени произведений искусства. Первое — какое-то отношение к детству: самое прочное произведение у Горького — «Детство», источник Толстого — «Детство, отрочество и юность», Пришвин — весь в детстве и в родине.

Второе — это чувство родины, культ матери. Третье — личность, то есть слово свое из себя самого, как у царя Давида.

Не лирика ли является ■ писаниях тем золотом, которое определяет их прочность и ценность? И эпос есть не что иное, как скрытая лирика.

Моя поэзия, в том виде, как я даю ее людям, есть результат моего доброго поведения в отношении памяти моей матери и других хороших русских людей. Я совсем не литератор, и моя литература является образом моего поведения.

Мне думается, что поэзия есть важнейшая душевная сила, образующая личность, и свойственна огромному большинству людей, и каждый из них мог бы сделаться поэтом сродного ему дела.

Однако освободить внутреннюю душевную силу человека невозможно действием извне: к этому благоприятному действию извне силой общественной необходимо соответственное внутреннее поведение каждого в отношении себя самого.

Может быть, то, что мы называем «поэзией», является образом нашего личного поведения, освобождающим творческую силу.

У меня под окном всю ночь пел соловей, и я думал о соловье и жаворонке у Шекспира и «Ромео»: человечество после Шекспира все повторяет эти сигналы природы о ночи (соловей) и об утре (жаворонок).

И я думал под песню соловья, что у Шекспира этот взяток поэзии из природы был случайным, а я превратил его в свой путь.

Поэзия — это чем люди живут и чего они хотят, но не знают, не ведают, и что надо им показать, как слепым.

Поэзия — это предчувствие мысли.
Поэзия — это дар быть умным без ума.

...Я понимаю поэзию как силу души человеческой...

Не очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к жизни, как будто долго, долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была поэзия, а на том жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался на ту сторону, и там оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия, или, вернее, что, конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь, но поэзию человеку можно сгустить в жизнь, то есть, что сущность поэзии и жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха.

Поэтическое чувство исключительно редко выражается в слове. Поэтом можно быть в разных делах. Встречаются нередко люди: он был поэтом в своем деле и не знал этого, но лишь после, когда расстался с любимым делом, вспоминает о нем, как поэт. Так что можно жить поэзией, не сочиняя стихов и рассказов.

Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия — не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен.

И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский.



ПРАВДА

Правда — это значит победа совести в человеке.

Мы потому современны, что нас всех соединяет какая-то мысль. Во всяком времени проходит особая мысль, и в этой мысли содержится путь, по которому в это время надлежит нам идти.

Можно ли знать эту мысль? — это вопрос, но чувствовать сердцем эту мысль, как наш путь, может каждый, кто хочет заглянуть в свою совесть, и это чувство истинного нашего пути совестливые люди называют правдой.

Впрочем, конечно, есть и бессовестные... Но у кого совести нет, у того скорей всего нет и правды.

Правда истинная — а разве есть еще какая-нибудь правда? А как же! Вот гуси на перелете летят, одни машут крыльями, а другие дают направление: «га-га».

Вот это-то «га-га» у гусей и есть их правда гусиная. А у человека своя правда, единственная правда, истинная: летит вперед и путь нам указывает человеческий.

Ты думаешь, правда складывается и лежит кладом, кто нашел клад — богат и перешагнул? Нет! Истинная правда не лежит, а летит.

Есть книги для всех, и есть книги для каждого. Для всех учебники, хрестоматии, для каждого

книга — это зеркало, в которое он смотрится, и сам себя узнает, и познает в истине.

Книга для всех учит нас, как нам надо за правду стоять. Книга для каждого освещает наше личное движение к истине.

Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется.

Правды надо держаться — истину надо искать.

Правда есть истина, ограниченная временем.

— Вы думаете о правде, как о неподвижной скале или как о корове молочной? Живая правда живет и пробивает, как все живое, себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама.

Дон Кихот вбил себе правду в голову, как гвоздь, а правда, как зеленый росток среди весеннего хлама: страшно смотреть, какая борьба! А пройдет время, и все станет зеленым, правда победит, и наступит век правды.

В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде: может быть бессильная красота (эстетизм), но правда бессильная не бывает.

Были люди сильные и смелые, и великие артисты были, и великие художники, но суть русского человека — не в красоте, не в силе, а в правде. Если же весь даже люд, вся видимость пропитается ложью, то для основного человека культуры это не будет основой, и он знает, что эта ложь есть дело врага и непременно пройдет.

Не в красоте, а только в правде великие художники черпали силу для своих великих произведений, и это наивно-младенческое преклонение перед правдой, бесконечное смирение художника перед величием правды создало в нашей литературе наш реализм; да, в этом и есть сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой.

Реализм в искусстве — это есть, иначе говоря, путь к правде: искусство на пути к правде.

Реализм — это вернее всего русская школа, тождественная с общим устремлением истории нашей морали в ее движении к правде. Может быть, и ложь-то бывает особенно велика из-за этого общего направления к правде...

— Рассказ «Заполярный мед» написан без выдумки, — сказал я.

— А вы, — ответила докторша, — всегда пишете без выдумки.

И это правда, что Л. Толстой тоже не придумывал и у него тоже В а р х е й т у н д Д и х т у н г[1] не расходятся. И у него тоже Д и х т у н г есть лишь

[1] «Поэзия и правда» — так называется автобиографическая книга Гёте. — *Прим. сост.*



личная форма правды. Поэзия у Пушкина, у Л. Толстого и у всех русских классиков есть дыхание правды.

Всякое великое произведение искусства содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, достигая правды своей картины, преодолел в себе давление жизненной лжи.

Правда колет глаза, сказать по правде очень трудно и в то же время обойти ее очень легко при одном условии, чтоесть-то ее обойдешь, но в будущем когда-нибудь непременно за тебя поплатится невинный.



Правда приближается к человеку в чувстве силы и является в момент решения бороться: бороться за правду, стоять за правду. Не всякая сила стоит за правду, но всякая правда о себе докладывает силой.

Бессильный человек ничего не может сказать о правде и чувствует ее где-то очень далеко от себя: «А ведь есть же где-то правда на свете!»

Правда любит селиться в деле: не всякое дело есть правда, но правда живет всегда в деле, и если даже явится

правда и красоте, то такая красота всегда бывает действенной.

Никакой правды не бывает без выдумки, напротив! Выдумка спасает правду, для правды только существует выдумка.

Правда без выдумки — как самолет без горючего. Правда лежит. Когда же нальют горючего, то правда летит, пересекая меридианы и полюса нашей планеты.

Вот так и жизнь моя собственная, если рассказать все по чистой правде, никому не интересна. Если же к этой чистой правде прильют некое горючее, то каждый поднимет свою голову вверх и поглядит на мой самолет.

Мне кажется, что правду какую-то собирали люди от века веков, но горючее правды живой содержится во мне самом и что это горючее скорее всего и есть я сам, и, «по правде сказать», это значит, непременно от себя самого и от чистого сердца.

Правда — это общая совесть людей, и вымысел — это за что я стою, это новое, небывалое.

Внутри сказки, все мы понимаем, таится правда, но если сказку сломаешь,

как игрушку дети ломают, то правды не найдешь.

Слово правды делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобой одним.

Туда, где складывается у людей правда, мне кажется, я спешу — спешу и кричу: «Погодите, погодите, возьмите меня!»

Итак, всюду, мне кажется, все делают правду, а каждый из нас непременно спешит, каждый нужен для всех, и все нужны для каждого.

Поэзия бросает лучи света во все стороны, и один из них проходит сквозь правду и освещает ее изнутри. Такая правда редкая светит для всех наравне со светилами, а искусство такого художника является личным его поведением.



ЛЮБОВЬ

Когда человек любит, он проникает в суть мира.

Белая изгородь была вся в иголках мороза, красные и золотые кусты. Тишина такая, что ни один листик не тронется с дерева. Но птичка пролетела, и довольно взмаха крыла, чтобы листик сорвался и, кружась, полетел вниз.

Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза! И вот эта холодная бегущая вода в реке... и этот огонь, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе и чего мы даже не знаем, — все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир.

Любовь — это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем.

Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте.

Вот как нежно, провеяв крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды, и просит, как маленький ребенок: звезды, месяц, белый свет, станьте на место улетевшего белого

голубя! И такое же в этот утренний час было прикосновение понимания моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле.

И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось, я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет и вся душа моя как глубокой осенью разоренная земля: скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, и по снежку — следы кошек.

...Что есть любовь? Об этом верно никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, и вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою непонятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками.

Физкультурница в штанах и белом халате, брови у нее подбриты в ниточку, глаза красивые, как у баранов. Приходит она точно в 8 1/2, мерит пульс и



начинает упражнения. Утром мне всегда хорошо думается, и я думаю о своем, а упражнения делаю, не думая, гляжу на нее и, как она, так и я, как она, так и я.

Вот о чем я думал сегодня, разводя руками по счету, сжимая кулаки и приседая. Я думал, что Л. в духовном мире для меня то же была, что и эта физкультурница на гимнастике. Я, постепенно глядя на Л., замечая приемы ее служения мне, почти механически начал ей тоже служить, как умею.

Так она меня и учит любви, но надо сказать, что, конечно, поздновато мне это далось, и оттого так впечатляется. Вообще же говоря, это дело не новое: в хороших семьях издавна воспитывались путем обоюдного служения.

А может быть, и у всяких народов, и даже у самых диких, по-своему, подикому была всегда такая же физкультура добра или служения одного человека другому.

— Друг мой! В тебе единственном мое спасение, когда я ■ несчастье... Но когда я бываю счастлив в делах своих, то, радуясь, приношу тебе свою радость ■ любовь. И ты ответь — какая любовь дороже тебе: когда я в несчастье или когда я здоров, богат, и славен, и прихожу к тебе как победитель?

— Конечно, — ответила она, — выше та любовь, когда ты победитель. А если ты в несчастье хватаешься за меня, чтобы спастись, так это же ты д л я с е б я любишь! Так будь же счастлив и приходи ко мне победителем: это лучше. Но я сама тебя люблю одинаково — и в горе и ■ радости.

Маленькая льдина, белая сверху, зеленая по взлому, плыла быстро, и на ней плыла чайка. Пока я на гору взбирался, она стала бог знает где там вдали, там, где виднеется белая церковь в кудрявых облаках под сорочьим царством черного и белого.

Большая вода выходит из своих берегов и далеко разливается. Но ■ малый ручей спешит к большой воде и достигает даже и океана.

Только стоячая вода остается для себя стоять, тухнуть и зеленеет.

Так и любовь у людей: большая обнимает весь мир, от нее всем хорошо. И есть любовь простая, семейная, ручейками бежит ■ ту же прекрасную сторону.

И есть любовь только для себя, и в ней человек тоже, как стоячая вода.



ВООБРАЖАЕМЫЙ КОНЕЦ РОМАНА. Они были так обязаны друг другу, так обрадовались своей встрече,

6 М. М. Пришвин

что старались отдать все хранимое в душе богатство свое как бы в каком-то соревновании: ты дал, а я больше, и опять то же с другой стороны, и до тех пор, пока ни у того, ни у другого из своих запасов ничего не осталось. В таких случаях люди, отдавшие все свое другому, считают этого другого своей собственностью и этим друг друга мучат всю оставшуюся жизнь.

Но эти двое, прекрасные и свободные люди, узнав однажды, что отдали друг другу все, и больше меняться им нечем, и выше расти в этом обмене им некуда, обнялись, крепко расцеловались и без слез и без слов разошлись.

Будьте же благословенны, прекрасные люди!

С м е р т ь т о к о в и к а. Свинец попал ему в бок и поразил сердце, но он, верно, подумал, что это ударил его противник, потому что подпрыгнул и упал, и крылья его уже хлопали в агонии, и он, из горла вырывая звук любви, токовал...

В ней для меня все нашлось, и через нее во мне все сошлось.

Женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем, и от прикосновения пальца ее к струне родился звук.

Так и со мной было: она тронула — и я запел.

Перемена в жизни березы с тех пор, как первый яркий и еще холодный предвесенний луч покажет девственную белизну ее коры.

Когда теплый луч нагреет кору и на белую бересту сядет большая сонная черная муха и полетит дальше; когда надутые почки создадут такую шоколадного цвета густоту кроны, что птица сядет и скроется; когда и в густоте коричневой на тонких веточках изредка некоторые почки раскроются, как удивленные птички с зелеными крылышками; когда появится сережка, как вилочка о двух и о трех рожках, и когда вдруг в хороший день сережки станут золотыми и вся береза стоит золотая; и когда, наконец, войдешь в березовую рощу и тебя обнимет всего зеленая прозрачная сень, — тогда по жизни одной любимой березки поймешь жизнь всей весны и всего человека и его первой любви, определяющей всю его жизнь.

Нет уж, други, с этим я никогда не соглашусь, что первым человеком в раю был Адам. Первым человеком в раю была женщина, и это она насадила и





устроила сад. И после ■ устроенный сад пришел Адам со своей мечтой.

Мы часто видим, что мужчина кое-какой, ■ женщина превосходная. Это значит, мы не знаем скрытого достоинства этого мужчины, оцененного женщиной: это любовь избирательная и, вероятно, и есть настоящая любовь.

Если ■ творчестве женщина мешает, то с ней надо, как Степан Разин, а если сам не хочешь, как Степан, то на тебя найдется свой Тарас Бульба, и пусть он тебя застрелит.

Но если женщина помогает создавать жизнь, хранит дом, рожает детей или участвует в творчестве с мужем, то ее надо почитать как царицу. Суровой борьбой она нам дается. И оттого, может быть, я ненавижу слабых мужчин.

...Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, я постараюсь быть лучше себя.

Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее нет ничего и не будет, а ты все-таки любишь через это все вокруг себя, и ходишь по полю и лугу,

и подбираешь красочно, один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки.

Если думать о ней, глядя ей прямо ■ лицо, а не как-нибудь со стороны, или «по поводу», то поэзия ко мне прямо ручьем бежит. Тогда кажется, будто любовь и поэзия — два названия одного и того же источника. Но это не совсем верно: поэзия не может заменить всю любовь ■ только вытекает из нее как из озера.

Любовь, как большая вода: приходит к ней жаждущий, напьется или ведром зачерпнет и унесет в свою меру. А вода бежит дальше.

Нам почему-то кажется, если это птицы — то они много летают, если это лани или тигры, то непрерывно бегают, прыгают. На самом деле птицы больше сидят, чем летают, тигры очень ленивые, лани пасутся и только шевелят губами.

Так и люди тоже.

Мы думаем, что жизнь людей наполняется любовью, а когда спросим себя и других — кто сколько любил, и оказывается — вот так мало! Вот как мы тоже ленивы!



— Все что-то делают...

— А разве это не дело — складывать две жизни [redacted] одну?

Начало любви — во внимании, потом [redacted] избрании, потом [redacted] достижении, потому что любовь без дела мертва.

Наконец он пришел, мой неведомый друг, и больше меня не покидает. Я теперь больше не спрашиваю, где он живет: на востоке, на западе, на юге или на севере.

Теперь я знаю: он живет [redacted] сердце моей возлюбленной.



ФАЦЕЛИЯ

...У меня от синей птицы моей юности — моей Фацелии — до сих пор в душе хранятся синие перышки.

Моя жизнь так проста: женщина от меня ускользнула, я собрал в себе всю свою мужскую силу (соловей запел) — и она вернулась ко мне. Вот этот голос жизни, этот зов и заменяет и метод и поведение в искусстве.

Дерево моего времени, ранняя ива, как невеста разукрасилась и стоит в неодетом лесу, торжествуя: как была она невестой, когда я первый раз полюбил, так и теперь стоит точно такая же прекрасная. И уже пчелы на ней гудят, и бабочки никнут, и все на ней — и звон шмелей, и аромат.

Ничего не осталось в душе от невесты моей, и сердце больше не замирает при воспоминании. Но теперь, мне кажется, все это былое страдание обернулось сюда в эту цветущую иву и где-то стало цветком, и я, вдыхая аромат, стараюсь что-то вспомнить, отгадать, какой из этих цветков — цветок радости моей, и ввести это в общее чувство запаха.

И еще больше — сейчас я забыл себя: мы все сейчас — только в этих цветах!

В юношеской любви всегда участвует природа, и если предмет любви исчезает, то в природе он остается, как в зеркале: смотри на эту природу и будешь в ней видеть, как Тургенев, чистых девушек, детей в их совершенной простоте, в мужиках деревенских — шекспировских мудрецов, в обществе — цельного человека в его движении к идеалу...

Человек, в детстве наслаждавшийся ароматом ландышей, и потом, когда потеряет обоняние в старости, не лишается желания поднести ландыш к носу. Мало того! Он может при этом наслаждаться воображаемым ароматом.

Поэзия сложнее аромата цветка, но и она близка к способности человека возмещать утраченное.

...Помню, в далекой юности, когда она передала мне письмо к родителям и прочесть его позволила, и я прочел простые слова о том, что она полюбила порядочного человека и намерена выйти за него замуж, я вдруг охладел, смутился, на мгновение увидел ее как очень обыкновенное существо: повязка вдруг спала. Это продолжалось одно какое-то мгновение, но она, по-видимому, поняла меня и вскоре взяла письмо обратно.

И как только она сделала это и снова стала недоступной, я опять начал роман с Альдонсой, обязанной быть Дульсинеей. Вот она, Дульсинея, и стала ее врагом, а за нее она меня возненавидела: она отстаивала в себе Альдонсу.

Она была женщина и содержала в себе богатство жизни, данное всем женщинам и о чем все молчат, потому что это дается всем. Но он коснулся этого впервые, и ему представилось, будто он открыл неведомый великий мир. Из этого

чувства и разгорелась его великая безумная любовь. Он любил всю женщину мира, всю Дульсинею, в этом существе частного случая, в этой Альдонсе.

Ты это чувство к Дульсинее перенес на весь мир и стал о новой открытой для себя стране писать и открывать ее всем. То, чего не хватало тебе самому при открытии страны великой радости, ВНИМАНИЯ К ЧАСТНОМУ (к этой обиженной твоим обезличением Альдонсе), ты восполнил особенным вниманием к мельчайшим подробностям в открытом мире, сообщением всему живому лица, всеобщим олицетворением, одухотворением. Прикасаясь к самой малой ничтожности мира, сообщая этому всему лицо, ты открываешь для всех позабытое, как забыта всеми великая Дульсинея, заключенная в обыкновенной девке Альдонсе.

Итак, все пятьдесят лет своего писательства ты провел, как образумленный Дон Кихот...

За весь вчерашний день прочитал только Роллана «Пьер и Люс». Роман был совершенно такой же, как у меня, и в том же Люксембургском саду, тоже в марте и с теми же воробьями. Но, конечно, я не чувствовал (а ведь в семьдесят пять лет!) прежней боли: место это в себе, конечно, было очень знакомо, ощутимо, но уже не болело, как бывало в снах...

И уж, конечно, в своей «природе» я это свое чувство только и описываю, все собрание моих сочинений есть раскрытие одного этого чувства...

Я в этом мартовском переживании не один,

в этом чувстве рождается человек, и оно значительней успехов Цезаря и Александра Македонского: оно есть свет вечности в настоящей минуте, в этом свете зарождается все искусство и еще больше — весь человек.

И вот почему когда это чувство заключено в себе и светит из себя на жизнь неугасимым фонариком, то на всякие великие события, великие дела у человека такого имеется своя спокойная точка зрения, независимая ни от людей, ни от книг и газет.

К этому нужно сказать, что этот свет в настоящей минуте бывает у всех и, наверное, это и называется любовью. Только не все отдаются вполне служению этому свету, служению, называемому творческим трудом.

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск, и ничего: по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу.

А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами

исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все, как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно, чего мне еще не хватало, это, чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я: попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

Самоограничение является источником силы. Я отказался когда-то с болью сердечной от любви к женщине, и любовь с радостью жизни в виде поэзии явилась ко мне в мое распоряжение.

Профессор из Тимирязевки прислал поздравление, в котором между прочими прекрасными словами было сказано о том, что природа в первой моей молодости улыбнулась мне и я об этой улыбке все и пишу.

Так ли?

Помню — смертельные какие-то, кровавые следы в душе остались от первой любви. И потом я — в природе, и эти кровавые человеческие следы постепенно заменяются следами голубыми каких-то зверушек на снегу весной света. Вот эту боль, переходящую в радость, я и описываю. А когда друг мой пришел на склоне лет, та самая в точности женщина, которую ждал я в юности...

Хорошо помню, что когда она пришла, и я, еще не поняв ее, но с мыслью о ней пришел в лес и смотрел на милые мне следы на снегу, то вдруг застал себя на следах, что не о них думаю, а о ней, и что следы как бы отделяются от меня и становятся вовсе не тем, чем были раньше.

Значит, ясно, что радость от природы мне приходила, как бальзам приходит к сосне, когда ее поранишь, что вся красота природы была для меня, как бальзам у сосны.

Так вот и вы, любители природы, когда в лесу рассеянно берете в руку кусочек смолы и наслаждаетесь ароматом целебного бальзама, то помните, этим бальзамом лечатся деревья, вся жизнь у которых есть постоянное стремление к свету, а у человека есть свой бальзам: поэзия.

...Мне тогда было на душе так, будто я в чем-то был виноват, я упустил невесту — я виноват.

...Вот и было один раз, в таком состоянии колесования души, я попробовал отвлечь себя от боли

записью каких-то слов народной речи. Разбираясь на бумаге [redacted] этих словах, я увлекся писанием и потом, очнувшись, почувствовал впервые себя счастливым. И это счастье, оказалось, пришло ко мне оттого, что я забыл себя с моей тоской за вину свою и сделался на некоторое время как бы невинным.

...Теперь я буду жить и писать так, будто явилась возможность этим способом вернуть себе невесту...

О, как опошлено французское «ищите женщину»! А между тем это истина. Все музы опошлены, но священный огонь продолжает гореть и [redacted] наше время, как горел он с незапамятных времен истории человека на земле. Вот и мое писательство все от начала до конца есть робкая, очень стыдливая песнь какого-то существа, поющего в весеннем хоре природы единственное слово: «Приди!»

Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, [redacted] не мечте своей, пролепетал свое «люблю».

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит — «люблю»?

— Это значит, — сказал он, — что если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь, как осел...

И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают.

— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть как все хорошие люди.

— Мне очень понравилась ваша «Фацелия», — сказал Азаров. — И мне кажется, вы сами ее очень любите.

— Да, — ответил я, — лучше пока я ничего не мог написать: это моя песня песней, но дальше мне хотелось бы прославить любовь не как песню, [redacted] как дело человеческой жизни...



ДИТЯ

...И стало мне вдруг хорошо на душе, как будто детство мое вернулось.

Утро пасмурное, [redacted] вечером солнце, весна ослепительная. И есть переулочки [redacted] Замоскворечье, где сохранилась тишина и в какую-то минуту перед самым вечером в сумраке можно встретить себя самого в детском виде и наслаждающимся счастьем детства под чудесный говорок засыпающих галок.

Возвращаясь из поликлиники, почувствовал на Полянке необходимость найти для себя на улице смысл данной минуты. Что это за смысл, я не совсем понимаю: может быть, это даже и вовсе не смысл, а просто момент соприкосновения внешней жизни с моей душой?

Так я посмотрел на дома новые и старые дома, — ничего не почувствовал: мертвые были дома, как памятники на кладбище. Чужды мне были троллейбусы огромные, и мчащиеся легковые машины, и шум, и лязг, и гудки... Но [redacted] это же время я знал, что где-то мой смысл должен быть.

Вдруг я увидел у края тротуара кучу песку, [redacted] возле кучи сидели маленькие дети и своими игрушечными формочками делали из влажного песка пироги.

И тут я узнал возле этой кучи песку то самое, чего мне так не хватало и что я назвал смыслом улицы.

В воздухе запахло самым хорошим, тем самым, чем пахло, когда, бывало, в детстве выносишь на двор запускать змей с трещоткой и длинным мочальным хвостом.

Это очевидно, что в детях мы любим не просто одно то, что они маленькие. Мы любим в них именно то прекрасное, что было у нас или около нас в нашем детстве.

Мы любим в детях то самое, что храним в себе с детства как лучший дар нам от жизни, и эту нашу прелесть стараемся по-разному воплотить: одни, и этих большинство, определяются с этим даром в семье, другие, кому семейное счастье недоступно, достигают его в искусстве. Третьи, не исчерпываясь до конца ни в семье, ни в искусстве, хранят своего младенца в себе до глубокой старости, и это их делает мудрецами.

Начинаю понимать, что я не просто живым детям пишу, в тем, которые остаются, сохраняются и не сохраняются, вернее сказать: какие должны бы у всех нас для нашего счастья сохраняться в душе. Может ли быть художник в любом искусстве без такого ребенка в душе? Едва ли...

Но больше! И не у художника, а в у всякого рабочего в его мастерстве, когда ни с того ни с сего, откуда что взялось — и вдруг ВЫШЛО совсем новое и небывалое, — так не этот ли самый спящий младенец шевельнулся, брыкнул ножками, а мастер обрадовался и создал что-то новое, небывалое.

Сохранить свое детство — значит остаться бессмертным.

Повилика выползла на песчаную дорожку, белая и розовая, пахнет по-прежнему чем-то далеким из детства, что ни за что не вспомнишь.

Не могу представить себе, как и чем пахнут цветы тому, у кого детства не было.

Осень глубоко продвинулась. Еловый подрост осыпан золотыми монетками берез и красными медалями осин. В лесу ведь и в солнечный день сумерки, в тут еще нападала листва и скрывает от глаз серые, красные и желтые шляпки грибов.

— Есть грибы? — спросил я маленькую дочь лесника.

— Волнушки, рыжики, маслята.

— А белые?

— Есть и белые, только теперь начинает холоднеть, и белые переходят под елки. Под березками и не думайте искать — все под елками.

— Как же это они так переходят, видала ли ты когда-нибудь, как грибы ходят?

Девочка оторопела, но вдруг поняла меня и, сделав плутовскую рожицу, ответила мне:

— Так они же ночью ходят, как их мне ночью увидеть? Этого никто не видал.

Мальчик Витя стоял и слушал нас, не улыбаясь. И понимали мы, что какая-то великая космическая метафизика клубилась в нем в поисках выхода. А бабушка его, тетя Саша, работала у нас на огороде поденщицей. Вдруг страшный грохот

раздался и показался низко над самым огородом самолет, и от него неслась по земле тень и неслась.

Витя закрыл лицо руками, и бросился к бабушке, и закричал ей:

— Бабушка, это смерть за тобой прилетела!

Тетя Саша вытерла ему нос, и потом, подумав, засмеялась в нашу сторону и сказала Вите:

— Смерть, говоришь, за мной прилетела? И улетела ни с чем: с чем пришла, с тем и ушла. Без воли божьей, дитятко, и смерть не сильна.

А мы между собой говорили о том, сколько философии и поэзии клубится в ребенке и куда это после у взрослого человека девается?

Ехать на машине — это еще не свобода: бывает, человек на машине едет в тюрьму.

Совершенно свободен ребенок, который играет в эту машину. Сидит на стуле, щеки раздувает: пах, пах, пах! — и это у него машина.

Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными.

Удивление покидает мир. Даже воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны. И можно вперед сказать, что перелет на другие планеты не даст того счастья, той радости, о которой сейчас грезится.

Удивление связано с детством человека. Современный взрослый человек рано расстается со своим ребенком: он с двадцати лет взрослый и больше ничему не удивляется. Сказка питается детством, и детство здоровьем, и здоровье дается землею и

солнцем. Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка.

Невозможно? Нет ничего невозможного. Во всяком случае, возникает вопрос: почему современный человек не отказывается от возможности перелета на другую планету и поднимают даже вопрос о физическом бессмертии в будущем, но почему же тогда невозможно вернуть человечеству удивление и сказку?

...Я с себя беру своего маленького героя... Мне удобен мальчик-герой, потому что я же сам, лично будучи от природы сам художником и поэтом в душе, скромным среди великих событий нашего времени, чувствую себя всегда мальчиком и, признаюсь, не сразу дохожу до их смысла, — если же сразу берусь, то неизбежно ошибаюсь. От этого мне легче среди великих событий изображать мальчика, из-за того именно легче, что я сам такой и, когда чего не хватит, буду брать из себя.

...Мне часто говорят, что я знаю хорошо детей и люблю их. Но я знаю, люблю и охраняю только одно, заключенное в себе бессмертное дитя. В этом ребенке и реализован мой талант.



Я думаю, что значение моих книг и у нас и дальше — в моем устремлении к детству. Природа у меня как материя детства.

...В 1905 году я напечатал первый свой рассказик «Дедок» в журнале «Родник». После этой удачи я задумал по совету Е. И. Ончукова поехать на север на Выгозеро. У редактора Альмедингена в «Роднике» я попросил денег на поездку.

— Я напишу вам, — сказал я, — о мальчике, попавшем на север, и так опишу север в приключениях мальчика.

— Нет, — ответил Альмедингеn, — напишите просто очерки севера.

Я послушался, и с тех пор вот сорок пять лет никогда не расставался с этим мальчиком, и все не мог написать.



Вся детская моя литература возникла на этой почве, а, может быть, даже и охотничья. По-видимому, этот мальчик живет у меня в душе, и скорей всего это я сам и ношу его в себе, как беременная женщина.

В этом вынашивании мальчика и есть все, чем я богат.

Понимать все на свете можно поразному, но несомненно нужно одинаково верно понимать человека, чтобы сделать ему радостный подарок.

Надо понять человека, чтобы суметь ему подарить. Пониманием любовь начинается и подарком разрешается: он дарит ей, она это дарит всем.

Скорей всего люди инстинктом животных чувствуют, что ребенок — это подарок для всех.

Новый человек — это ребенок, а если о нем надо рассказывать, то расскажите о взрослом, сумевшем сохранить в себе ребенка.

Сумерки сегодня были теплые и тихие. Я сидел у реки, и пока смеркалось, мне казалось, что лишнее мое все понемногу расходилось в сумерки и оставляло меня больше и больше, пока, наконец, я совсем не осмеркся.

Мне было так, будто у меня осталось только детство, что я после всего, наконец, вернулся в него, но только оно теперь лучше, и экзаменов больше не будет.

...Сколько в жизни ездил, искал, и в конце концов оказалось — искал того, что у меня было в детстве и что я потерял.



ДОБРО И КРАСОТА

Дело художника — сделать красоту солнцем добра.

После дождя майского в лесу послышалось: «Ку-ку!» И от первого луча, проникшего в лес, сверкнула, алмазно переливаясь цветами, росинка. И вот слова той росинки в переводе на язык человеческий:

«Все истинно новое свидетельствует о красоте и добре и обещает в будущем погибель зла».

А когда лучи шире разбежались по лесу, то у всех листьев, цветов, деревьев, кустов, у ежа, зайчика развязались языки, все засверкало, засвистело, закуковало, запело, и все собиралось в душе, обращаясь в слова человеческие.

Красота светит всем, но не каждому: не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает — не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает.

Русская литература, конечно, в красоте вырастает, как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни вне красоты. Что это? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи.

— Идеи, идеи, — сказала мне, студенту, как-то в молодости моей тетушка моя Ксения, — что же в них хорошего?

— А что вы, тетушка, понимаете в этих идеях?

— Что понимаю? Вроде колечка, как пускают изо рта курильщики. Только идеи нужные — их ловят и сажают на стерженек: одно колечко к добру, другое — ко злу. У каждого человека в душе есть такой стерженек, и каждый сажает себе на него колечки добра и зла: дело в стерженьке, а не в одних идеях. Сами же идеи все равно как дым, вот отчего я и сказала тебе: «Идеи, идеи, а что в них хорошего?»

Есть сила держать — и самое зло обернется в добро. Жизнь заставит! Нет силы — и добро оборачивается во зло. Понял, друг?

Мы вздумали себе сделать пирог из молодых грачей, как у Диккенса. Рядом с нашим домом на высоких деревьях, елках и соснах, была расположена колония грачей. Нетрудно было тут отстрелять себе десяток птиц. Встревоженные грачи зашумели, но скоро успокоились. Больше мы не стреляли. Птицы дожили у нас лето и улетели на юг.

Однако свидетели расстрела десяти молодых грачей запомнили это и так крепко, что там, куда они улетают на зиму, все время это держали в памяти до весны, и когда весной прилетели, то поселились в другом месте на противоположной стороне деревни, на деревьях общежития рабочих завода «Металлист».

Зато воробьи у нас под окном на веранде давно живут. На этой веранде мы кормим собаку, и что у нее остается — клюют эти воробьи. Им хорошо — и живут. А грачей обидели — и они улетели.

А воробьи помнят наше добро. Скажут: им это

выгодно. — Ну так что же. Выгодно, что тут плохого? Пусть грачам невыгодно, а воробьям выгодно. Мы же, люди, первое называем добром, второе злом. В наших руках находится добро и зло, захотим — животные будут кусаться, захотим — будут любить.

А говорят иногда, — птицы глупые и ничего не понимают. Как же глупые? Из нескольких сот грачей в колонии, если не тысяч, мы взяли десять молодых. В то время грачам бросить все большое их общественное хозяйство из-за десяти было невозможно. Вот они потому дождались осени, улетели в теплый край, там прожили всю зиму и все это время держали эту обиду в памяти до возвращения всех птиц на места гнездований.

Вот как птицы помнят наше добро и зло.

Утром началась метель мельчайшими белыми пылинками, рассмотрев которые на темном, я убедился, что и такая пыль состоит из шестигранных звездочек... И все эти снежные груды, от которых гнутся пятидесятилетние сосны и аркой склоняются до земли березы, состоят из этих звездочек.

Сколько зла, сколько злобы в зиме, столь красивой для того, кто живет в тепле, и столь ужасной для застигнутого врасплох в поле путника... Сколько замерзает в одну только такую метель живых существ, сколько поломанных ветвей, сколько изуродованных деревьев! Но придет время, и каждая прекрасная и злая шестигранная звездочка зла превратится в круглую каплю доброты, включающей в себя и красоту. Сверху добро, внутри



красота — какая сила! А зимой — наружу красота, а внутри зло.

Я продолжаю думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна.

Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все человечество. И пусть вырастут на крови цветы — не утешительно. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю добра — не утешительно!

Когда навстречу прекрасному в природе душа моя расширяется, я верю, что это прекрасное существует в мире само по себе и я лишь просто его принимаю в себя.

Когда мне становится худо и на глаза попадается все некрасивое и недоброе, то виновником этого состояния я считаю себя: это я такой с этими глазами смотрю на мир.

В этом заключаются все правила моей гигиены, и только благодаря этому я в творчестве своем движусь вперед.

Какой чудесный вопрос художнику: видели ли вы в своей жизни красоту, и сколько раз, и при каких обстоятельствах?

В детстве нам называли лучших людей умными. И когда, бывало, скажут о ком-нибудь «умный», мы такого

человека уважаем... Но если бы среди великих имен: Канта, Спинозы, Дарвина или еще когонибудь — стали искать «умного» человека в нашем детском понимании, то и среди великих ученых «умного» мы, может быть, и не нашли б.

Понимаем теперь, что в наше время умным человеком назывался человек, обращенный сердечным вниманием к другому человеку, и это не просто добрый, а как бы умеющий делать добро, и не просто добродушный, а знающий, в какие именно руки направить добро.

Сирень цветет, и есть множество людей, у кого возбуждается одно только желание — сорвать цветы и унести их к себе, сделать это нечто прекрасное, непонятное (нечто, никем, никогда) своей собственностью; так что скорее всего и вся собственность есть выпадение из области красоты и добра.

Мать-природа, когда поливала наши огурцы, верно, не думала о том, что завтра на восходе ее водица на листьях блеснет росой и восхитит всех, кто выглянет на свет божий. Она делала просто добро и никак не предусматривала красоту: из ее добра сама собой красота выходила. Да и мы тоже так работаем — красота выходит сама собой, если у нас делается добро.

Не красота спасет мир, а добро. А кто гонится за красотой, тому-то и открывается вид на поле, где бог с дьяволом борется, и ты себя чувствуешь, как корреспондент газетный на поле сражения.

Так что ты думай просто о добре, и если ты поэт, то природа откроет тебе красоту в своем

материнском прикосновении к тварям, потому что поэзия и есть материнское прикосновение.

Делай правильно — и красота сама придет.

Красота избегает тех, кто за ней гоняется: человек любит свое что-нибудь, трудится, и из-за любви, бывает, появится красота. Она вырастает даром, как рожь или как счастье. Мы не можем сделать красоту, а посеять и удобрить землю для этого мы можем...

...Добро есть дело рук человека, а красота — нерукотворна.

Если жить красотой и строить мир красоты, то какая-то этика должна сама попутно явиться. И наоборот, если человек любит и поступает по любви, то, наверно, это будет красиво, и будет красивая жизнь, и красота будет живой.

...Искать надо, как Толстой, и за это хвататься, за правду, а красота сама собой придет.

...Я думаю об искусстве как поведении: что есть у всякого настоящего творца свое творческое поведение в жизни, — своя правда, а красота приходит сама. И живой пример этому для всего мира был Лев Толстой: он искал слова в правде, а красота в них потом находилась и определялась сама.

...Красота далеких стран непрочная, потому что всякая далекая страна рано или поздно должна выдержать испытание на близость. Потому истинную прочную красоту художник должен открывать в близком и повседневном.

Красота — это свет правды, а тень красоты — это ложь.

Третий раз позирую Ларисе, и у нее теперь намечается красивая картина кого-то в голубом свете холодном, с собачкой, но не портрет.

Так в красивости мы спасаемся от правдоподобия.

Добро само по себе не кажется на вид и убеждает нас, только если осветит его красота. Вот почему дело художника — это, минуя соблазн красивого зла, сделать красоту солнцем добра.

Добро — это цветок, выросший на удобрении.

Добро, любовь, красота не составляют в душе человека особой области, а венчают путь каждого из нас, если мы шли правильно.



Самая большая сила на земле — та сила связи, которая получается через самого художника.

Писатель тот, кто умеет следить за собственной личной своей жизнью — это первое, этого довольно, чтобы сделаться писателем; но, чтобы сделаться писателем-художником, нужно еще это свое увидеть отраженным в мире природы [redacted] человечества.

Чем краше день, тем настойчивее вызывает и дразнит нас природа: день-то хорош, [redacted] ты какой. И все отзываются — кто как.

Счастливей всех в этом художники.

Бывает, весенняя вода прорвет плотину, смоет мостки, и останутся от всех мостков одни колышки, и они-то бывают мерой того, как глубоко когда-то стояла вода. Так и памятник Пушкину остается мерой, до какой высоты может доходить полнота человеческой жизни...

Бывает, весенняя вода, спадая, оставляет на лугу льдинки, указывающие на то, как далеко разлилась вода. Так и памятник Пушкину указывает нам высший предел разлива нашей души. А мы смотрим, и надеемся, и ждем, что придет новый Пушкин и установит нам новую даль.

Памятник Пушкину ставится не самому Пушкину: какое дело Пушкину до своих памятников!

Он становится только для общества, как мера разлива души человеческой.

Но вот странность: жизни не жалко, но если я представлю себе, что придет когда-нибудь время и я брошу перо, то мне кажется это невозможным и недостойной себя жизнь без охоты писать. Мне кажется, эта охота моя больше жизни...

Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки; откуда-то в душу мою, и от них оставались ранки. И уже, когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать.

Где была ранка — вырастает мысль.

Вынашиваю мысль о священном порядке в душе творца, каким является в какой-то мере каждый работник, мастер своего дела. Этот священный порядок повелевает мастеру поставить все предметы на свои места, а также и определиться самому в служении и отделаться от прислуживания.

Требуется достоинство и больше ничего.

Тайну творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из нас влюблен, то, бывало, и все люди на свете хороши. Так в творчестве есть мысль — не мысль, а что-то единое сердца, ума и воли.

Если ты нашел в глубине себя мысль, то везде она, эта мысль: смотри в лес — и там листики и

птички по-своему о ней говорят, смотри на большую улицу — и люди шепчут между собой о том же, и даже если усердно будешь смотреть в телескоп, то и там, и везде, и во всем, как в тебе.

Сущность творчества, его самый глубокий секрет в том, чтобы находить в себе и для всех эту мысль.

Вышел я из дома с мыслью о том, что на охоте дорого то равновесие, в какое входит душа в природе, как будто это две чаши весов (я и природа) приходят в равновесие и стрелка останавливается.

И если в таком состоянии что-нибудь случается и это запишешь, то пусть это будет самое ничтожное, и все равно, когда напишется, будет непременно интересно и хорошо.

Из этого правила вышел весь я как писатель.

Сегодня после теплого небольшого утреннего дождя так чудесно в природе и так хочется писать! И так нужно писать, именно когда самому хорошо, иначе непременно поведет перо на сомнение или на какую-нибудь дрянь.

Мне кажется, что когда самому хорошо, тогда и явится из-под пера что-нибудь свое и новое, а то будет или пессимизм, или перепевы.

Хорошо бывает забыться в лесу, в поле, на улице и вдруг вернуться к действительности. Тогда в первый момент кажется, будто застал мир, как он живет без тебя.

Но можно думать — это не жизнь врасплох

застаешь, и самого себя узнаешь, каков ты есть, когда смотришь на мир своим собственным нервым глазом, как первый человек, ступивший на новую землю.

Вот эта способность заставать мир без себя или чувствовать иногда себя первым на новой земле, вероятно, и есть все, чем обогащает художник культуру.

Мудрость человека состоит в искусстве пользоваться одной маленькой паузой жизни, на какое-то мгновенье надо уметь представить себе, что и без тебя идет та же самая жизнь.

После того, взглянув в такую-то жизнь без себя, надо вернуться к себе и, затаив паузу, делать свое обычное дело в обществе.

— Где же ты был? — спрашивают мудреца. А он чуть-чуть улыбается и ничего не говорит. Он был там, где жизнь течет без его участия, сама по себе.

Да, забыться на мгновение и опять встретить жизнь, какой она была без тебя.

Не вдали, а возле себя самого, под самыми твоими руками вся жизнь, и только сам ты слеп, не можешь на это, как на солнце, смотреть, отводишь глаза свои на далекое прекрасное. И ты уходишь туда только затем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни. Можно всю жизнь отдать на пропаганду этой мысли.

Для художника жизнь на земле — это единство и каждое событие в ней есть явление целого, но

ведь надо носить в себе это целое, чтобы узнавать его проявление в частном. Это целое есть свойство личности.

Что же такое деталь? Это есть явление целого в частном.

Что есть художество? Вот какая-нибудь пичужка сидит на ветке, шишку долбит, и носик у нее кривой, и, с одной стороны, линия этого носика есть часть траектории чего-то огромного, вроде Марса, а с другой, это великое предстоит сердцу умильно, понятно, ответно: восхищение от пустяка, и пустяк — это все!

Птенчик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку.

Спрашивать писателя о «тайнах творчества», мне кажется, все равно, что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу, дело козы — давать молоко.

Так и о творчестве — надо спрашивать жизнь, нужно самому жить, а не спрашивать художника, влюбленного в жизнь, «каким способом мне тоже влюбиться?».

Вчера вечером слушал соловьев и наслаждался не переживанием детства, а так, как оно сейчас:

за черной пилой леса золотая заря, над зарей облака тяжелые, синие, и по синему красные борозды.

Пели соловьи в той стороне, где заря за рекой, и на горе надо мной, и внизу, в овражном ольшанике, и я слушал и выбирал, в какой стороне соловьи лучше поют.

Когда же выбрал сторону, стал выбирать среди соловьев, какой лучше поет, и когда нашел лучшего, то стал его спрашивать, как бы мне тоже так научиться петь лучше всех.

И соловей мне ответил:

— Хочешь петь — и пой, а научиться этому нельзя. — Помолчав, он добавил: — Да и не надо. Что хорошего будет, если все научатся и запоют.

Передавали Шаляпина по скверным пластинкам, но я все-таки думал о нем то самое, что думаю всегда. Он мне является чудом, утверждающим мою любовь к родине и веру в себя.

...Такой талант, как у Шаляпина, такой САМОРОДОК надо понимать как природу в ее изначальном творчестве. По Шаляпину, как по величайшему образцу, надо постигать нерукотворное творчество, как явление божией милостью.

Все хорошее, в том числе и хороший рассказ, происходит не только от личного усилия, нет, оно само выспевает, как яблоко на стволе человеческой личности.

Чтобы настоящим быть художником, надо преодолеть в себе злобную зависть к лучшему и заменить преклонением перед совершенно прекрасным.

Зачем мне завидовать лучшему, если лучшее есть маяк на моем пути, и зачем мне падать перед совершенно прекрасным, если я в нем в какой-то мере, пусть даже в самой малой, но участвую: тем самым, что я восхищаюсь, я участвую.

Конечно, и во мне всякий есть человек, но я выбираю из всего себя лучшее, делаю из него человека возможного и называю это — реализм, а не то реализм, как некоторые думают, чтобы вывертывать все из себя без разбору и находить в окружающем мире людей ему подтверждение.

Искусство есть в существе своем движение и начинается от желания лучшего: хочется лучшего, чем данное...

Написать «по себе» — это у меня значит самому превратиться в то, о чем пишешь, и прямо скажу: мне легче превратиться в собаку, в ковер, в елку или березку, чем в иного, чуждого мне человека, в разбойника, в вора.

Я чувствую, что, кажется, уловил желанный мазок для своей лесной повести: совершенную, детскую простоту выражения радости жизни. Этого только я и добивался, этим находил читателя, но не всегда выходило верно (лучше всего это выходило в «Лесной капели», в охотничьих и детских рассказах).

Рассказ «Москва-река» отправлен в редакцию, и, мне кажется, я написал его хорошо, то есть без

всяких претензий, почти как простолюдин, хранящий неведомые себе самому в душе сокровища жизни.

...На мгновенье мне было так, будто я все слова позабыл и сказать мне теперь нечего. Но так бывает постоянно со мной при переходе с записанной речи к устной, к тому языку, каким мать мне говорила и учила меня его первым словам.

Каждый раз, когда я, забыв на мгновение все, чему меня учили, берусь за эти родные слова, мне кажется, будто не слово приходит ко мне, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, со сверкающими глазками, с острым носиком, как у синички, и это — я сам. Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что сказка эта сказывалась. И потому она мне кажется, эта сказка, крылатой и свободной, что я всю жизнь трудился, учился так же свободно писать, как она сказывается, и все-таки не мог обратить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях, и в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев.

Бывает, долго толкуешь о чем-нибудь простому человеку, и вдруг лицо это осветилось и станет, будто он все это знал давным-давно, только считал ненужным для него делом и позабыл. Слово — это лицо простого человека, и так же, как у каждого листика на дереве есть свое выражение, так и у каждого человека есть свое собственное, единственно ему принадлежащее слово.

Пусть даже это свое тайное слово никому не удается сказать, но все равно, он этим словом живет, оно образует его выражение.

Почему-то всегда, если выйдет тебе в чем-нибудь удача, то кажется, что если бы и каждый сделал такое же усилие, как и я, то мог бы то же самое добыть для себя. В особенности часто бывает с тем, что люди называют «талантом». Им кажется, будто талант — это «дар» и выпадает ни за что ни про что. Мне же представляется, что талант заключен в усилии, и каждый, у кого нашлось бы такое усилие, нашел бы и чему-то своему и талант. Мне представляется, что мы вроде конницы, и каждый должен сделать усилие, выбрать себе в диком табуне своего коня, прыгнуть на него и удержаться.

Человек живет и рождает новое, и от него остается навсегда то небывалое, что он рождает словом, делом, помышлением, поклоном даже, или пожатием руки, или только улыбкой посылаемой.

Мне казалось, с тех пор как я помню себя, что есть какая-то великая страна небывалого и что я ее должен открыть всем. Больше! Мне казалось всегда, что не я один представляю собой это небывалое «я», и все тоже «я», и каждый в себе таит его и почему-то не всегда может или хочет открыть.

Вот это самое движение душевное — открыть людям свое небывалое и тем самым, если удастся, побудить их тоже к открытиям — и было моим первым началом, когда я взялся за перо.

...Живая бесконечно разнообразная стихия действующего народного слова и есть все, чему я служу не как ученый, языковед, философ, а как мыслящий простой человек.

Мало того! Я постоянно в своем родном народе нахожу себе тоже таких собеседников со своим небывалым еще, неслыханным живым словом-мыслью. Было время, когда я был даже уверен в том, что я тут ни при чем, что я только ищу, нахожу и записываю у каждого замечательного маленького человека его небывалое.

И сейчас не бросил я искание небывалого в природе людей, животных и даже деревьев...

Мыслевыражение — есть такое же конкретное открытие, как географическое.

Вот почему Шекспир — это как материк, а я, например, открываю маленькие чудесные островки, свидетели великой, залитой океаном земли.

Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно сделаться отличным писателем.

Если бы вышло из моих писаний то самое, чего я хочу, то это был бы человек живой, как я сам, и бессмертный.

Сказать от души, от себя самого и полным голосом — вот единственная мораль писателя.

Мое дело было посеять себя, и я посеял, а дальше, как сеятель, предоставляю самой природе выращивать мое семя.



ДЕЯНИЕ

Завет, преподанный Марксом, состоял в философии действия...

«Ты» — это значит, что я должен для тебя что-то сделать. «Ты» в отношении «я» — это действие, это значит: я положу душу за друга. И еще это значит утверждение жизни здесь, на земле.

Итак, други, коммунизм в настоящее время есть д е л о прежде всего. И если ты ищешь веры, то смотри на дела, и ты найдешь и поймешь веру из дел.

Мой современник — это не тот, кто устраивается потребителем всего нового, а кто сам участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил.

Даже лишь созерцающий природу мысленно вносит в нее свой порядок. Вот в том-то и дело, что человек, в большинстве сам того не зная, переделывает природу с каждым шагом своим, и сама сущность его революционна.

Ежедневно я борюсь в себе с твоими недостатками, отбрасывая их как несущественное, и очищаю от них твою душу, которую вижу.

Точно так же и природа: мое чувство природы опирается на дело, в пишу, — это все равно что возделываю сад, и у меня вырастают деревья, и плоды их достаются не мне.

И я это именно счастьем своим считаю, что плоды моего сада всем достаются, и эту творческую силу я называю любовью.

Любить — значит делать.

Успех с натаской Жульки и охотой на перепелов смел всю писательскую тревогу.

Мне кажется, что если бы повесть оказалась одной из самых замечательных на свете, то удовлетворение от этого легло бы в душе моей куда-то, где мое личное «я», тускнея, переходит в общую душу русского человека, в мое чистое «я» в смысле торжества дня моей жизни над смертью, «я», которое радуется жизни и от этого всем хочет добра, — это «я» в достижении с Жулькой и охотой на перепелов неизмеримо ярче писательского удовлетворения.

Слово и дело. Слово вырастает из дела — и это есть слово правды. А чаще слово подменяет дело, и тут рождается ложь.

Дело человека — высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир.

Слово не рождается, а образуется в деле из маленьких слов: подай, помоги, передай!

И так, образуясь, слово венчает в конце всякое дело, полезное для рода человеческого, и открывает нам смысл вещей, из-за чего на свете все делается.

...Ленин гениален потому, что перешел черту, которую всякий другой не смел перейти (нажал гашетку взведенного народом курка). В этом действии Ленина народ узнает свое дело, спуск гашетки — момент превращения народного дела в личное, и в этот момент личность делается вождем народа.

Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством.

Чем же плох этот мой труд — снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт. И так все, всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно... Так я смотрел на себя, фотографа, со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходят запросто и, положив ему руки на плечи, говорят на «ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле.

Когда я приходил в деревню в 1919 году, в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала, это теперь воспоминание мое, как состояние наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал.

Мой дом над рекой Москвой — это чудо. Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны. Это не дом, а талант мой, возвращенный к своему источнику.

Дом моего таланта — это природа. Талант мой вышел из природы, и слово оделось в дом. Да, это чудо.

Кроме литературных вещей, в жизни своей я никаких вещей не делал и так приучил себя к мысли, что высокое удовлетворение могут давать только вещи поэтические.

Впервые мне удалось сделать себе дом как вещь, которую все хвалят, и она мне самому доставляет удовлетворение точно такое же, как в свое время доставляла поэма «Жень-шень».

В этой литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений, и нет в ней ни одного гвоздя не сочиненного.

Так, мое Дунино стоит теперь в утверждение единства жизни и единства удовлетворения человека от всякого рода им сотворенных вещей: все авторы своей жизни, и всякий радуется своим вещам.

Намеченные достижения не удались: ни роман еще не доведен, ни собрания сочинений не достиг. И даже собака моя любимая больна и, может быть, и не будет жива.

Но зато я существую, да, я словом своим по силам своим жизнь изменяю, творю, — значит, я существую. И вместе с этим все больше и больше овладевает мною мысль о каком-то хорошем месте моем в будущем сознании людей.

Когда это будет, и где, и как — я не могу сказать, но в том я уверен, что место свое найду, и эта вера моя есть требование моего человеческого смысла.

Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листики тополей. Белеют почки вновь посаженных яблонь, груш, вишен. Зацвела черемуха. На такие праздники у нас, людей озабоченных, духу не хватает, и потому [redacted] такие дни мы хватаемся за работу.

Вместить такие праздники могут только дети.

Впрочем, у меня еще кое-что сохранилось от детства, и я могу превратить эту радость праздника в слово.

Увы, увы, милые мои почитатели, видящие во мне Великого Пана, в такие дни, говорят, Фет, чуткий к природе, завешивал окна своей рабочей комнаты и принимался за поэтическую работу. И каждый художник, чем больше он чувствует праздник, тем больше работает.

Ночью выпал снег, и рано утром в темноте, лежа [redacted] постели, я радостно догадался о том по скребкам дворников и в который раз уже подумал, что [redacted] крайнем случае не без удовольствия служил бы дворником.

Небо безоблачное, травы достигли высоты, дошли до своего предела и зацвели, кипит жизнь пчел, шмелей, шиповник цветет. Но я, все зная, не смотрю на меру, я царь природы и делаю больше, чем все они.

Не надо смотреть туда, в сторону умирания, — надо создавать, надо рождать царя природы, не подчиненного законам умирания: он существует [redacted] нашей душе, [redacted] воплощать его — значит творить.



СЧАСТЬЕ

Я переполнен счастьем, мне хочется открыть всем глаза на возможность для человека жить прекрасно...

Это мое счастье — радоваться солнцу так сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию (про себя) при всяких, даже ужасных условиях до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе. Радоваться небу, солнцу, траве, выйти на дорогу, обрадоваться встрече с человеком и разделить с ним путь до его села, и в селе этом чтобы просто обрадоваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспоминали про веселого странника.

Это счастье никак не связано с у д а ч е й, но часто удача бывает от счастья; даже напротив, только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданьём, иной бывает способен радоваться жизни и быть счастливым. Удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину.

Первая и самая большая радость, которую я себе доставляю, это доверие к людям. Быть как все. Страдать оттого, что я не как все...

...Вчера утром после дождя создалось в природе все для счастья, как в раю. Липы направляют все силы, чтобы закрыть проникающий свет, отгородить наше от вашего. Дуб распускается, на

черных кривых сучках его не зеленые листья, а золотые дары. Белка пронеслась поперек дорожки...

Последняя правда, что мир существует таким прекрасным, каким видели его детьми и влюбленными. Все остальное делают болезни и бедность.

Начинается день, как и вчера: день свидетельствует о счастье для всех и каждого совестливого укоряет в его личном неумении и робости взять свое счастье.

Становится совсем непонятным, как мало люди берут из того, что им дано на земле. И как счастлив я, что свою долю в значительной мере взял. Это первое и достоверное — любовь к Л., второе — любовь моих читателей ко мне.

Как назвать то радостное чувство, когда кажется, будто изменяется речка, выплывая в океан, — свобода? любовь? Хочется весь мир обнять, и если не все хороши, то глаза встречаются только с теми, кто хорош, и оттого кажется, что все хороши. Редко у кого не бывало такой радости в жизни, но редко кто справился с этим богатством: один промотал его, другой не поверил, а чаще всего быстро нахватал из этого великого богатства, набил себе карманы и потом сел на всю жизнь стеречь свои сокровища, стал их собственником или рабом.

Нельзя целью поставить себе личное счастье. Оно дается даром тому, кто ставит себе труднейшую цель и ее достигает. Вернее, счастье обретает тот, кто целью своей жизни ставит счастье своего ближнего.

Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным. Это до того у нас повсюду у земли, что никто на это счастье не обращает внимания и думает, что так это и надо.

А мне надо было в молодости побыть за границей, на одном немецком языке посидеть несколько лет, чтобы понять и оценить эти соки земли.

Вот идет человек, бригадир стекольного завода. Прошлый раз он впервые увидел меня на лесной дороге с убитым чернышом. Он порадовался моей удаче, похвалил петуха, спросил, кто я, сказал, кто он, и мы разошлись, и больше ничего между нами не было. И вот он сейчас издали увидал меня, и не может сдержать радостную улыбку, и потом говорит со мной, как будто мы с детства знали друг друга.

Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга, если же кому не удастся найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных от кошек и собак и до всякого существа, так что обнимает дружески все на земле: и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгутик подорожника на своей тропе.

Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что их даже не замечают,

называют, смотря по силе способности, чудаками или художниками.

Их большое значение в том, что, созерцая их творения, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.

Счастье везде одинаково, и в природе и в человеческом обществе. Это неведомая нам рука бросает тысячи семян, чтобы одно проросло, и когда оно прорастет — это счастье. Так елки сеют своими шишками, осинки, одуванчики. Так тысячи тысяч людей берутся за кисть, за перо, за смычок, чтобы один вырос и дал новый посев.

На простой прогулке после утреннего завтрака обыкновенный дачник встречает приход прекрасного мгновения к себе пошлым восклицанием... А художник, как раненый, хватается за кисть и в труде адском топит невыносимость своего счастья, отчего и труд его делается возможным...

Один человек жизнь и счастье свое отдает в борьбе за правило или метод, а другой в поисках счастья борется со всякими правилами, как с врагами.

Есть такое место, где стоит мастер и

кует людям железные кольца на ноги, цепи на руки, так, что люди радостно их надевают и называют свои кандалы привычками — заменой счастья.

И есть еще одно место, где мастер затем и стоит, чтобы разбивать у людей их привычки-цепи и создавать настоящее счастье.

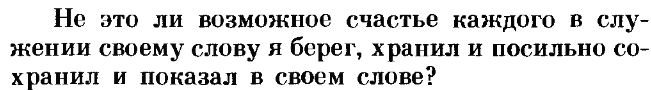
В лесу на прогулке иногда в раздумье о своей работе меня охватывает философский восторг: кажется, будто решаешь мыслимую судьбу всего человека. Эти минуты, наверно, стоят высшего счастья.



Независимость личности создается любовью, но есть два рода любви. Одна любовь для себя называется счастьем, другая — подвигом. Время сейчас от человека требует подвига, но тем больше хочет он личного счастья.

Такой моральный разрыв заполняется бюрократами-моралистами.

А разве не в моем собственном счастье содержится счастье всех? Вспомнить только свою влюбленность, когда все были так хороши! Не это ли состояние каждого (как возможность) является величайшим сокровищем, и не этому ли «счастью» мы все обязаны служить: все служить счастью каждого.



Не это ли возможное счастье каждого в служении своему слову я берег, хранил и посильно сохранил и показал в своем слове?

Да, конечно, счастье необходимо, но какое? Есть счастье — случай, — это бог с ним. Хотелось бы, чтобы счастье пришло, как заслуга.

Вот друг мой, — это, конечно, мое счастье. Но разве я-то не заслужил его! С каких далеких лет я за такое счастье страдал и сколько лет в упорном труде обходил свою личную обиду, достигал признания общества и чего-чего только не терпел.

Нет, нет! Я счастье свое заслужил, и если каждый соберет столько усилий, чтобы обойти свою обиду, то почти каждый будет счастливым.

Мир всегда одинаков и стоит, отвернувшись от нас. Наше счастье — заглянуть миру в лицо.



ТВОРЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Поведение то и есть, что каждый стал на свой путь.

...Творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой.

Мне всегда казалось, что каждый человек, если он добьется такого своего места в жизни, приносит для всех непременно что-нибудь новое, небывалое, и в этом и есть все наше творчество.

В поисках источника поэзии я долго называл это состояние души поэта родственным вниманием. Но, исследуя природу этого внимания, желая это внимание сцепить с сознанием, волей, личностью, я стал называть его поведением.

Река питается скрытыми родниками: все ею пользуются, а за рекой родники. Так и у писателя пишется. А пишется тем, что у него за душой. И все мы потихоньку спрашиваем: «А что у него за душой?»

Очень часто: писатель блестящий, а за душой ничего. И еще я сравниваю поэзию с невестой, у которой бывало раньше приданое: что за невестой, что за поэзией, что у писателя за душой.

Л. вышла из машины и скрылась в лесу, а я в ожидании ее возвращения облокотился о машину и

постарался почувствовать прекрасный солнечный вечер в лесу. Но как я ни всматривался в эти стволы леса, освещенные пятнами пронзительных вечерних лучей, я видел только красивость леса без всякого содержания.

И вдруг я понял, что содержание художественного произведения определяется только поведением самого художника, что содержание есть сам художник, есть собственная душа, заключенная в форму.

Мне вспомнилось, что у какого-то французского художника, у Коро или Милле, я видел когда-то этот лес, любовался им, но мне самому он был чужд.

...Но вдруг выпорхнула и вспыхнула в лучах вечерних и острых стайка певчих птиц, начинающих перелет свой в теплые края, и лес стал для меня живым, как будто эта стайка вылетела из собственной души, и этот лес стал виденьем птиц, совершающих перелет свой осенний в теплые края, и эти птицы были моя душа, и их перелет на юг было мое поведение, образующее картину осеннего леса, пронзенного лучами вечернего солнца.

А сегодня день зацвел еще лучше прежнего. В эту ночь недаром мне снилось, будто я какую-то чудесную простую русскую песенку пою и все вокруг меня радуются. Такие сны только в детстве бывают, потому что такое видеть можно только с невозможной для взрослого чистой совестью.

Но тут, конечно, не во мне был этот кристалл, а вне меня: невозможно прекрасный день так во мне реализовался. Верую или хочу верить, что когда-нибудь случится в мире такое прекрасное, явится оно таким несомненным, что мертвые встанут и запоют, как я в свои семьдесят шесть лет запел во сне в эту ночь.

Как это хорошо написалось о том, что дело песни решила не моя чистая совесть, а самая красота этого дня.

Можно думать, что чувство совершенства или гармонии, необходимое для творчества, есть состояние души творца, его поведение. Но нет! Человек, исполненный этого счастья, не может отнести его к себе, столь несовершенному существу.

В этом-то и есть поведение труженика, творца жизни человеческой, что он утверждает прекрасную реальность, вне себя самого находящуюся.

...Полагаю, в конце концов, что вначале было дело формирования моей личности: дело это — мое поведение. А дальше в моем поведении родилось и вышло на свет, как ребенок у матери, мое слово.

Вот отчего, наверно, и бывает со мною всегда, когда читатель мой объясняет создаваемые мною вещи «талантом», я с этим не соглашаюсь. Я сам свои хорошие вещи отношу не к таланту своему,

и к своему поведению. Мне кажется, талант у человека общий со всей природой, у всех одна доля, по прямой, как дерево, поднимается вверх к солнцу и распространяется вширь по земле. Этот талант, как мотор, дает общее движение жизни, а мое личное поведение на почве общего таланта-мотора определяет мою вещь как заслугу и меня самого как личность единственную, неповторимую и необходимую людям в движениях к небесам вверх и вширь по земле.

Еще и такие есть читатели, которые, радуясь моей вещи, объясняют ее появление моим мастерством, поселяя у наивных людей такое мнение, что если будешь умело мастерить со словами, то сделаешься хорошим писателем. До некоторой степени это не совсем бессмысленно в других искусствах, в живописи, в музыке, но в искусстве слова мы учимся с первых дней по выходе из материнской утробы, учимся с первых лет школы. В этом и состоит счастье искусства слова и его первое место среди всех искусств, что ему учатся все и ученье это происходит незаметно.

Выделение мастерства как главного фактора творимого в искусстве слова, вероятнее всего, произошло от сальеризма и подражания.

...Мне скажут, что Сальери был в поведении, но у него ничего не выходило в сравнении с Моцартом — человеком без поведения.

В том-то и дело, что поведение в моем смысле не есть школьное поведение, измеряемое отметками. Мое поведение измеряется прочностью создаваемых вещей, и с этой точки зрения Моцарт вел

себя как следует, как творец цельной личности, и не подменял ее рассудочным действием.

Далеко позади себя я оставил гордые попытки управлять своим творчеством, как механизмом. Но я хорошо изучил, при каких условиях мне удаются прочие вещи: только при условии цельности своей личности.

И вот это узнавание и оберегание условий бытия цельной личности стало моим поведением в отношении творчества. Я не управляю творчеством, как механизмом, но я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи: мое искусство слова стало мне, как поведение.

Не знаю, что я сделал хорошего, мне кажется, еще очень мало. Но я знаю твердо, что все признанное хорошим есть не просто случайная игра моего таланта, а исходит из особенностей моего поведения.

Всякий художник, когда делает свою картину, то, конечно, сколько-то мыслит и о себе. Вот эта мнительность о себе при бездарности творит катастрофу в душе художника, когда картина выставляется на суд общества...

Маленькими деспотами в искусстве теперь хоть пруд пруди...

Мысль о борьбе художника с



самомнением, как борьбе, образующей поведение художника, открывающей тайны его природы, и есть одна из самых существенных в моей работе...

Бывает, находишь что-нибудь новое в нравственном мире, небывалое, и тогда хочется разобраться в своем пути, как шел, как нашел, чтобы утвердить в себе этот путь и, может быть, дать его всем, как путь в новый мир, как поведение. Но напрасно будешь в этом счастье своем искать поведение всем: каждое открытие требует и особенного поведения, точно так же как и каждый новорожденный имеет за собой особый и небывалый случай встречи его родителей.

Так мы и думаем теперь, что для всех не может быть одного поведения, но для каждого свое в отношении всех обязательно.

Пришел к сознанию того, как это трудно, как это опасно и каким это надо быть чистым человеком и большим художником, чтобы написать по себе о поведении художника.



В связи с катастрофой у Лепешинской вернулся к мысли своей о творческом поведении. Есть одно единственно неверное движение, от которого

рушится все дело балерины (у Лепешинской треснули четыре маленькие косточки). И есть одно такое движение, от которого вырастает балерина, и у нее рождается свое единственное поведение в жизни. Мало ли как мы все ведем себя в жизни, и это называется поведением. Это не поведение, а повторение механического диктата среды. Напротив, поведение наше настоящее исходит из того, что лежит за душой и находит себе выход в творчестве. Но этот закон личного поведения встречает условия всеобщего движения точно так же, как встречает их пешеход, переходящий широкую улицу, заполненную машинами.

Два эти закона: закон всех и закон каждого — явились теперь ко мне на равных правах.

Поведением я называю то или другое сознательно-человеческое отношение каждого из нас к закону для всех.

Закон каждого есть утверждение своего первенства в условиях права на первенство в чем-нибудь каждого.

...Я теперь все же ясно вижу два рода возможностей поведения человека: одно поведение ведет к самому себе и раскрытию своего таланта и через

это — к раскрытию широкого понимания природы и людей; другое поведение ведет к отщепенству и демонизму и не к творчеству, а к позе творчества.

Поведение или метод в искусстве — это система сигналов своей личности, себя самого, своей собственной души другой душе, как на другую планету.

С другой стороны, душа человека вообще одна, и сигналы какой-то души — есть сигналы единства.

...Мы берем не историю, а творчество во всем его объеме (на войне, на заводе, у художника) и покажем, что всякое настоящее творчество определяется поведением, это значит, гармоническим сочетанием сознания и жизненного действия.

Обтяпал двадцать кустов черной смородины и когда устал, то почувствовал обман мечты, завлекающий делать сад.

Будь у меня земля в то время, когда зарождалась эта мечта, и выйди я тогда на эту работу, я был бы отличным садовником. Но сада у меня не было, я работать стал над словом и вырастил сад из слов такой большой, что в нем тысячи гуляют и миллионы пройдут в нем.

Теперь вся эта работа тяпкой в сравнении с тем, как я работаю над словами возле той же мечты, представляется ничтожной. Дивный пример какого-то поведения.

Взял бы и сказал людям и дал им простое средство в руки, а вот пойди и скажи! Ну́жно целую вселенную в себе самом открыть, чтобы сказать эти простые слова. Чувствуешь про себя мысль, знаешь, а сказать не можешь.

И такая вся природа: все знают, а сказать должен человек.

Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: «Пишу как живу, и живу как пишу».

Таков и мой идеал: достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью.

...Прямой путь к правде называется поведением.

...Моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, и оттуда все мое поведение: пишу — значит люблю.



ДРУГ

Спрошенный о том, что такое друг,
Зенон ответил: другой Я.

Сегодня, друг мой, в Москве на Тверской улице я увидал, как два пожилых гражданина встретились и вдруг узнали один другого, наверно, не встречаясь полвека, один воскликнул: «Сережа!», другой: «Миша!» — и обнялись.

Я позавидовал им: «Вот наговорятся-то!..»

Вот и я так думаю иногда о себе: и мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца...

Такой я не один, и, значит, лирика моя в романе имеет всемирное значение жажды затерянного человека найти родную душу для встречи.

Было во время дождя: катились навстречу друг другу по телеграфной проволоке две капли. Они бы встретились и одной большой каплей упали на землю, но какая-то птица, пролетая, задела проволоку, и капли упали на землю до встречи друг с другом.

Вот и все о каплях, и их судьба для нас исчезает в сырой земле. Но по себе мы, люди, знаем, что нарушенное движение двух навстречу друг другу и там, в этой темной земле, продолжается.

И так много волнующих книг написано о возможности встречи двух стремящихся одно к другому существ, что довольно бегущих по проволоке двух дождевых капель, чтобы заняться новой возможностью встреч в судьбе человеческой.

Лучшее движение души русского человека это к другу, за друга (выручить, вызволить, постоять за).

Быть мудрым — это значит прежде всего быть внимательным к душе близкого человека. На вопрос же: кто этот близкий, — ответ такой: в каждом человеке родственное внимание стремится открыть близкого, — кого оно откроет, тот и есть близкий.

Есть в осени первоначальной хрустальный день. Вот он и теперь. Тишина! Не шевелится ни один листик вверху, и только внизу на неслышном сквознячке трепещет на паутинке сухой листик.

В этой хрустальной тишине деревья, и старые пни, и сухостойные чудища ушли в себя, и их не было, но, когда я вышел на полянку, они заметили меня и вышли из своего оцепенения...

Тоска по человеку и страх одиночества, когда я нашел себя, вдруг исчезли: и человек свой родной и близкий оказался на всяком месте.

Человек близкий везде и всюду, только надо быть самому свободным, сильным, здоровым душой. Давайте же помогать и удивляться этим людям в первую очередь, а потом уж пойдем к

труждающимся и обремененным. Это маленький вариант милосердия.

Среди людей на улице идешь и сосредоточенно думаешь о своем, о себе. И вдруг что-то случится, и увидишь ИХ. То же и в лесу: вдруг застанешь жизнь без себя, елки, березки САМИ; и вот это-то «сами» и надо считать высшим моментом творческого созидания.

Не надо искать опору себе в людях отдельных: друг живет не в отдельностях, а в целом человеке, когда он, собираясь, слышит живое слово, и кричит, и хлопает руками от радости, или когда-то и где-то шепнул вам задушевное слово, или выглянул глазком из толпы, или вон против вас там в вагоне сидит и глядит куда-то вдаль с какой-то мыслью, а солнышко с той стороны лица раззолотило кудри, одни реснички того глаза тоже светятся вместе с кудрями.

Ничего-то не нужно ей, этой милой девушке, от вас, и вы тоже боитесь спугнуть ее даже своим взглядом, но оба где-то в себе радуетесь, что вместе куда-то едете в один и тот же чудесный весенний день вашей жизни.

— Учился я плохо и никогда этого себе не прощу: я был очень рассеян и ленив и недостаточно стремился побороть этот свой порок.

— Как же, — спрашивают, — при таком недостатке вы все-таки научились и сделались достаточно известным мастером слова?

— Тому, о чем вы спрашиваете, научиться нельзя: тут дело не в выучке, даже не в мастерстве,

и скажу: в поведении. Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, чтобы встретить свой родной язык, как друга, нужно было искать этой встречи... Я получил свое мастерство, как понимание законов родного языка, от своей матери, няньки, от школы и от всякого народа даром, как все. Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, и был мой родной язык.

У каждого яблока на одной и той же яблоньке такое разное выражение. Есть яблоко умное, выглядывает из-за листика выпуклиной своего лобика, и есть наверху любимое мое круглое, с круглыми дольками, всегда мне сверху весело смеется. И, бывает, я ему даже пальцем погрожу и скажу...

Нет, нет, благодарю за язык мой, спасающий меня от тяжелого молчания, вызывающий мне друга даже из яблоньки.

Искусство, как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми. Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли, и разных земель, и разные земли между собой, города, даже ме-

лочи жизни становятся такими, будто их делало само время.

Да, так и можно сказать, что всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких людей. Часто эти близкие живут на таких отдаленных окраинах места и времени, что без помощи книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать.

Через тоску, через муки, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому.

Случается каждому писателю на склоне лет среди своих писаний, убегающих в Лету, найти одну страницу необыкновенную. Как будто весенний поток выбросил эту мысль, заключенную в железную форму, как льдину на берег. И вот вода, выбрасывающая льдину, давно уже в море исчезла, а льдина все лежит, лежит и тратится только по капельке.

Когда я у себя в радостный день встречаю такую страницу, я всегда изумляюсь, как это я, ленивый, легкомысленный и вообще недостойный, мог написать такую страницу? После раздумья я отвечаю себе, что это не совсем я писал, что со мной сотрудничали неведомые мои друзья, и оттого у нас



вместе получилась такая страница, что совестно становится отнести только к себе одному.

У меня в жизни друзей не было, и зато к каждому я стремился, как к другу.

Голодный повар — как это может быть? А вот бывает же: поэт похож на голодного повара, — он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно, как будто оно в отношении писателя так и должно быть: сытым писателя так же трудно представить, как голодным повара.

Сегодня мысль моя вертится вокруг той силы души человека, которая развивается и раскрывается в борьбе с одиночеством: иду с человеком по тропе и говорю ему. Человек ушел — я один на тропе, мне не хватает слушателя, я вынимаю книжку и записываю.

Одиночество неестественно, и человек, царь природы, тем он и царь, что вступает в борьбу со своим одиночеством и, преодолев в себе природу свою, живет со всеми и всем царь.

Люди естественные — это люди семейные, и есть люди, лишенные этого «счастья», люди холостые, и есть люди преодолевающие зависимость свою от природы (одиночество), люди-цари.

Есть животный путь спасения — борьба за существование, и чисто человеческий — борьба с одиночеством, с природой своей отдельности за всего человека.

Итак, я хочу сказать, что человек делается царем, имеющим власть над природой, в борьбе со своим одиночеством.

Нет мудрости в том, что кто-то, завидев прекрасное, бросается к нему, присоединяет к себе и делает своей собственностью: эта собственность неминуемо рано или поздно сделает его своим рабом. Настоящая мудрость приходит к человеку, когда, завидев прекрасное, он не бросается к нему, а собирает друзей и показывает. Тогда прекрасное само приходит к нему, как к хозяину своему и другу, и свободно садится со всеми за стол.

Человек неведомый послал улыбку кому-то, и от этой улыбки родилось небывалое.

В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный путь.

Тема нашего времени — это найти выход из любви к каждому любовью ко всем, и наоборот: как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?

Вся суть добродетели в том, чтобы на добром пути помочь человеку стать на свои ноги, поддержать и пустить.

Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один

столбик. Мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать. Этого друга моего вы не увидите, и я сам его не вижу, а только знаю, что он есть: этот мой читатель, кому я пишу и без кого я не мог бы ничего написать.

Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит:

— Это на какого читателя написано?

— На своего, — отвечаю.

— Понимаю, — говорит он,—а всем это непонятно.

— Сначала, — говорю, — свой поймет, а он уж потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял, свой читатель, как волшебная призма всего мира. Он существует, и я пишу.

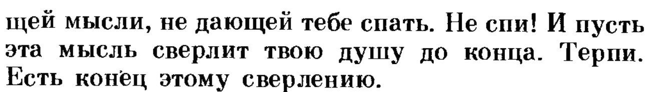
Моя поэзия есть акт дружбы с этим волшебным читателем-человеком: пишу — значит люблю.

Моя природа есть поэтическое чувство друга — пантеизм далеко позади, — друга-человека, составляющего вместе начало общего дела, начало коллектива.



Иногда, записывая что-нибудь себе в тетрадку, как будто опомнишься — кажется, я не просто пишу, а что-то делаю, и даже определенно чувствую, что именно делаю: я сверлю.

Друг мой! Не бойся ночной сверля-



щей мысли, не дающей тебе спать. Не спи! И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению.

Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека, и то, что делается с твоей душой в эту ночь, — это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе.

В основе любви есть неоскорбляемое место полной уверенности и бесстрашия. Если случится в этом с моей стороны посягательство, то у меня есть средство борьбы против себя: я отдаю всего себя в полное распоряжение друга и через это узнаю, в чем я прав, в чем виноват. Если же увижу, что друг мой посягает на святыню мою, я проверю его, как себя.

И если случится самое страшное и последнее: друг мой станет равнодушным к тому, чем я горю, то я возьму палку свою дорожную и выйду из дома, и святыня моя останется все равно нетронутой.

Друг, в этом все. Только друг!

* * *

Опять блистательное утро, но к вечеру радио обещает дождь. И пусть дождь, но утро мое. Пусть не будет даже совсем никакого утра больше — это утро мое!

Я бы желал перед смертью от себя отказаться для утверждения радости жизни: я не могу, а вы, друзья, царствуйте!

Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков, мудрец их имеет в виду, а решает только частности.

Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого.

Есть люди, у кого много детей было, и они все хотят их рожать, и еще и еще... Так мы хотим друга такого большого, чтобы он обнял собою всю природу, всю жизнь.

Весь путь мой был из одиночества в люди.

Только одно к этому еще запомните, деточки, что жизнь для игры и сказки трудней и больней.

ШКОЛА ДУШИ

Уже в молодости Михаил Михайлович Пришвин был знаменит. Прожил он восемьдесят один год, и слава никогда не изменяла ему. При жизни издавались собрания его сочинений. Ему посвящали статьи, книги, диссертации. Рассказы Пришвина входили в школьные хрестоматии.

И все-таки по-настоящему узнаем мы Пришвина только теперь. И не потому, что вдруг, как это порой случается, обнаружились неизвестные прежде произведения писателя. А потому, что пришло время узнать и понять то, что казалось давно известным и понятным.

От века понятными считались отношения человека и природы. Природу благодарили, когда неутомимой рукой забирали ее щедрые дары. Природу покоряли и нещадно эксплуатировали, если она добровольно не уступала своих благ. Природа внушала мистический ужас действием необузданных стихий. И тогда в ней видели злейшего врага. Красотой природы восхищались.

К «певцам природы» был отнесен и Михаил Пришвин. Очевидная простота этого определения на долгие годы скрыла подлинное пришвинское

лицо. «Казалось бы, все о нем ясно: певец природы, а на деле до ясности еще очень далеко», — пишет вдова писателя и глубокий исследователь его творчества В. Д. Пришвина в книге «Наш дом». И верно. При словах «певец природы» каждый непременно представит писателя, который сочиняет «охотничьи» рассказы, мастерски рисует пейзаж, любит зверей, птиц и прочую живность, учит читателей бережно относиться к богатствам родной земли. Все это можно сказать и о Пришвине. Но сказать о Пришвине только это — значит не сказать самого главного.

Природа — и в этом суть — никогда не была для Пришвина чем-то таким, на что можно полюбоваться со стороны, как на лес и речку, проносящиеся за окном дачного поезда. В понятие «природы» писатель вкладывал не бытовой, расхожий, а научный, философский смысл. С этой точки зрения все, что ни есть во вселенной, можно с некоторой долей условности разделить на природу и культуру. То есть на то, что возникло и существует в мире как бы само по себе, и на то, что создано руками и разумом человека. Деление это не абсолютное, потому что культура в ее вещественном, материальном воплощении есть также переработанная, «очеловеченная» природа. Да и сам человек в своей живой, биологической основе является пусть и главнейшей и «царствующей», но все же *частью* природы. Природа и человек, природа и культура состоят в изначальном, непреходящем родстве, в теснейших отношениях единства и противоположности, художественно-философское постижение которых для Пришвина было «невыразимой мыслью всей жизни».

Вот что ускользает от нас, когда мы прибегаем к определению «певец природы», — ускользает целостный, мирообъемлющий, комплексный подход художника к действительности. Говоря «певец природы», мы, хотим того или нет, проводим твердую черту: здесь — природа, а здесь — человек, ее воспевающий. Но, по Пришвину, «сам человек тем только и человек, что соединяет в себе все, что есть в природе, расставляет эти свои части на места, и когда это верно приходится — все на места, — то достигается нечто новое в жизни, называемое по-разному: культурой, прогрессом, творчеством, и тогда вся природа включается в человека».

Из современников Пришвина сравнительно немногие отважились ступить вместе с писателем на нелегкую дорогу его исканий. Одним удобнее было считать Пришвина преимущественно детским автором, простым до примитива. Другие, напротив, сетовали на чрезмерную сложность, «замудренность» пришвинских строк. Парадоксальную противоположность таких суждений объяснить нетрудно. В языке Пришвина, в структуре любого его произведения, будь то многоплановый роман или беглая зарисовка в записной книжке, есть глубина и прозрачность, как в полноводном озере с чистой водой. Когда плывешь на лодке по такому озеру, дно кажется совсем рядом, хотя на самом деле до него далеко. И те, кто обманывался иллюзорной близостью дна, и те, кто робел перед открывавшейся глубиной, довольствовались, в общем-то, поверхностным пониманием писателя.

Пришвина приблизила к нам эпоха научно-технической революции, совпавшая со всемирно-историческими достижениями развитого социали-

стического общества в деле формирования гармонической, духовно богатой человеческой личности. Небывалый интеллектуальный подъем во всем обществе, стремительный рост сознания масс обострили интерес как к насущным проблемам социально-экономического и политического развития, так и к «извечным» вопросам человеческого бытия — этическим и нравственным. Этот интерес по-новому осветил фактическую достоверность и духовную насыщенность пришвинских строк. В обширном литературном наследии писателя на передний план выдвинулось то, что традиционно считалось «творческой лабораторией», — записные книжки, дневники, непосредственные отклики на быстротекущую действительность. Порой им находится применение совершенно неожиданное.

Несколько лет назад в издательстве «Молодая гвардия» вышла книжка «Интегральный интеллект» — о будущем человеческого разума. Ее автор, ученый Ю. Шейнин, писал в предисловии: «Читатель встретит в книге много ссылок на мысли из дневников и записных книжек Михаила Пришвина, известного более как писатель, певец русской природы, нежели как самобытный и яркий мыслитель. Проницательность многих суждений из дневников и записных книжек писателя поразительна. Он не был знаком с теорией систем, но зато по-настоящему знал и чувствовал систему природы и место в ней человека и именно поэтому интуитивно приходил к подлинно системным решениям проблем личности в обществе и природе. Его размышления о природе и человеке, о личности и индивидуальности, о характере и особенностях творческой деятельности и многое другое вливались в русло общей идеи интеллектуального единения, близкой идее Интегрального интеллекта. Два с лишним десятилетия, отделяющие от нас пришвинские «Глаза земли», — десятилетия, до предела наполненные бурными событиями во всех областях жизни, — нисколько не умалили свежести и глубины этих размышлений. Напротив, подобно хорошему вину, со временем их ценность лишь повысилась. «Независимая экспертиза» Пришвина используется на протяжении книги как своего рода «контрольный опыт», подтверждающий правильность хода мысли автора».

Книга «Интегральный интеллект» — одно из многих свидетельств живого участия Михаила Пришвина в нашей борьбе за завтрашний день. В одном лишь можно возразить Ю. Шейнину: восхищающая его прозорливость писателя основывалась не столько на интуиции, сколько на сознательном научном предвидении. Ведь Пришвин, прежде чем стать писателем, был ученым, стоявшим на позициях передовой науки своего времени.

Он учился в Рижском политехническом институте, в Лейпцигском и Йенском университетах, то есть получил лучшее по тому времени образование в области естественных и философских наук. Диалектику учил он «по Гегелю», а труды Маркса, Энгельса, Бебеля, Лассаля читал в подлиннике. Был у него хотя и небольшой, но весомый революционный опыт: участие в марксистском студенческом движении; год, проведенный в царской тюрьме; высылка в деревню под гласный надзор полиции.

Вернувшись в начале века из Германии, Пришвин занимается исследованиями в лаборатории

академика Д. Н. Прянишникова в Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, работает агрономом в земствах, в крупных помещичьих хозяйствах, пишет статьи и книги по сельскому хозяйству. Оставив через несколько лет агрономию, обращается к собиранию и изучению фольклора, к журналистике. И в художественную литературу, как сам потом скажет, приходит медленным, «тележным» путем — через земледельческую работу в деревне, фольклористику и этнографию, репортерский очерк. С уникальным для писателя знанием народной жизни.

О Пришвине говорили: писатель-географ, писатель-охотник, писатель-путешественник, писатель-Берендей... При этом на первый план в читательском сознании выступали Берендей, путешественник, охотник, географ. Писатель же оставался в тени. Однако чем дальше по времени уходит от нас Пришвин, тем очевиднее, что был он прежде всего *писателем* — в том высоком понимании этого слова, какое дала миру наша отечественная классическая литература. То есть гражданином, летописцем народной жизни и народной судьбы, искателем правды и борцом за нее, провозвестником нового. Пришвина сравнивали с писателями-натуралистами С. Аксаковым и И. Соколовым-Микитовым, с учеными-популяризаторами М. Мензбиром и Д. Кайгородовым. Сам Пришвин сравнивал себя с Маяковским. В дневнике 1946 года у него есть запись: «Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия — не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен.

И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский».

И вот какова сила предрассудка! В представлении традиционного литературоведения образы «певца природы» Пришвина и «агитатора, горлана-главаря» Маяковского столь разительно далеки друг от друга, что десятки людей цитировали и даже комментировали эту запись и никто из них не заметил: а ведь она не только о Маяковском, но и о Пришвине. Объясняли характеристику Маяковского, данную Пришвиным, и не обратили внимания на *самохарактеристику* писателя.

Между тем Пришвин объединяет *главное* в поэмах Маяковского с тем *главным*, «о чем я (то есть Пришвин) пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге». С дореволюционных времен ведет он дневники, которым, по собственному признанию, отдает «главные силы свои писателя». О них он скажет: «Не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду?».

Дневники, из которых уже к началу 40-х годов составились «Фацелия» и «Лесная капель», и много позже «Глаза земли» и посмертные «Незабудки»; дневники, немногие отрывки из которых в последнем собрании сочинений заняли не менее четверти всего объема; дневники, бывшие для писателя его лабораторией, кладовой слова, аккумулятором тем, идей, образов, находивших воплощение в рассказах и повестях, — самое важное и только теперь по достоинству оцениваемое наследство, оставленное нам Пришвиным.

День за днем «пришиты», «пришпилены» их строчками десятилетия народной жизни, как они

преломились в душе русского писателя, счастливо сочетавшего, по слову Горького, талант поэта и разум мудреца. «И это пришитое есть правда», — скажет потом Пришвин.

Запись о Маяковском вошла в книгу «Глаза земли» под названием «Правда Маяковского». В 1950 году Пришвин напишет: «Поэзия у Пушкина, у Л. Толстого и у всех русских классиков есть дыхание правды».

Четырьмя годами раньше: «Реализм в искусстве — это есть, иначе говоря, путь к правде: искусство на пути к правде». Так кровно заинтересовано размышлять о коренных для социалистического искусства проблемах правды и реализма мог, разумеется, только художник, который по самой природе своего дарования — публицистического, исследовательского — не мог находиться в стороне от животрепещущей политики, от определяющих течений времени.

В 1931 году, когда рапповские вульгаризаторы искусства особенно ретиво бранили писателя за «отрыв от современности», Пришвин имел все основания напомнить: «Когда после первых лет революции начала возрождаться литература, ведь это я был единственным писателем, который явился в Госплан и предложил себя в сотрудники, как исследователь жизни».

«Исследователем жизни» Пришвин ощущал себя всегда, с первых шагов в литературе. И тогда, когда шел «за волшебным колобком» вековечной народной мечты о лучшей доле на Север, в «край непуганых птиц», и в Крым, в заволжские леса и заиртышские степи. И тогда, когда журналистом дореволюционных газет писал «по самым

горячим следам» корреспонденции о столыпинской деревне с бунтующей голытьбой и кулаком-мироедом, об антинародной мировой бойне, в которую вовлекли Россию царь и капиталисты, о позорном угнетении царизмом национальных окраин и о голодных переселенцах...

В прошлом веке жанр, в котором более всего работал Пришвин, назывался «физиологическим очерком». Позже появился термин «производственная литература». Сейчас мы говорим: «социологическая проза». Пришвин нашел свой рабочий термин — «исследование журналиста». Такой подзаголовок дал он книге «Башмаки», написанной в 1925 году по заданию Госплана. Прочитав эту книгу, А. М. Горький писал Вяч. Шишкову: «М. М. Пришвин очень угодил мне «Башмаками». Хитрая вещь».

В начале 20-х годов в голодной, разутой, разоренной гражданской войной России Пришвин ставил проблемы, которые многим читателям казались странными, несвоевременными. Половина страны ходила в лаптях, а писатель требовал, чтобы нарождающаяся обувная индустрия заботилась не только о числе выпускаемых пар, но и об их изяществе.

В книге Пришвина техника увидена в теснейшей связи с психологией, характером, способностями, мировоззрением человека труда. Анализируя талдомский башмачный промысел, на смену которому шли кооперация и растущая государственная промышленность, писатель в экономике и технологии промысла разглядел два типа отношения к труду. Кустари издавна делились на «погонщиков» и «волчков». «Погонщики» — ремесленники,

работающие на «вал». Качество их не занимает. Их изделия грубы, примитивны. Цель — произвести побольше и, стало быть, побольше заработать. «Волчки» — истинные художники. Каждая пара сработанной ими обуви неповторима. Она — плод вдохновения, искусства, мастерства. «Волчки» — бессребреники. Заработки их в сравнении с «погонщиками» невелики. Зато их изделия славились в Европе и поныне украшают музеи, вдохновляя сегодняшних модельеров.

Пришвин раскрывает зависимость между деловыми и гражданскими качествами людей, между характером экономики и уровнем общественного сознания. Отнюдь не случайно «погонщики», как правило, консервативны и невежественны, некомпетентны и нелюбопытны, самодовольны и нетерпимы, тогда как «волчки», высмеянные «погонщиками» за донкихотство и непрактичность, жадны до всего нового, новаторы и революционеры по самой своей сути.

Приветствуя вытеснение кустарей-одиночек — «погонщиков» и «волчков» — фабричной социалистической индустрией, Пришвин в то же время со всей остротой ставил вопрос о качестве труда, выражал тревогу, как бы пренебрежение к этой стороне дела, погоня за количественными показателями не привела в конце концов к торжеству «традиции» «погонщиков». Будто бы и справедливо рассуждает управляющий фабрики «Парижская коммуна»: «Волчки» работают на буржуазию, а фабрика стремится создать массовый механический башмак для рабочей женщины». Но Пришвин убежден — «без красоты люди жить не могут», и советская труженица, конечно же, стократ более

достойна красивой обуви, чем неработающая нэпманша.

Много позднее угадывание современности в якобы «несовременных» вещах Пришвин назовет пробным камнем истинного творчества. Удивляясь сегодня актуальному — и с психологической и с народнохозяйственной точки зрения — звучанию «Башмаков», как, впрочем, и многих других «старых» пришвинских книг, мы понимаем, что под «несовременными вещами» Пришвин разумел не одну вечную природу. Речь шла о той степени писательской зоркости и проникновения в диалектику бытия, когда в незначительном открывается значительное, в умирающем — живое, во второстепенном — главное, в уходящем — зерна будущего.

Задачи злободневные (скажем, народнохозяйственные, экономические) Пришвин ставит и решает попутно. Главным для него остается нравственное возвеличивание человека, рост, созревание его души.

О поколении, к которому принадлежал писатель, принято говорить, что оно соединило два века. И какой же долгой представляется нам сегодня его жизнь! Пришвин родился в 1873 году, умер в 1954-м. Мальчиком он мог бы слышать разрывы бомб, бросаемых народовольцами в царя и его приближенных. В молодости — залпы рабочих винтовок на баррикадах Красной Пресни.

Когда орудия «Авроры» возвестили наступление новой эры, Пришвину было уже сорок четыре года. А затем последовали гражданская война, борьба с разрухой, первые социалистические стройки. Победа советского народа в Великой Отечественной войне и новое мирное строительство,

рождение и упрочение мировой социалистической системы...

Всему этому Пришвин был современником и, как современник, всем существом жил страстями своего времени, его болью и его надеждами. Неудивительно, что писатель разделил с иными своими соотечественниками некоторые ошибки и заблуждения, не всегда — особенно в час крутой революционной ломки — умел мгновенно и безошибочно сориентироваться во времени. Удивительно другое: то, что народный гуманный талант писателя воистину соединил «век нынешний и век минувший», протянув в наши дни из далекого прошлого крепкую нить преемственности тех нравственных, духовных ценностей, которые наследуют, сберегают и умножают люди развитого социалистического общества.

Впрочем, и это выглядит закономерным, если не забывать, что время для Пришвина не застывший слепок с мгновения, а сама жизнь в ее неостановимом течении. Мысль писателя всегда созвучна времени. И потому она не застывает в мертвых формулах, не претендует на окончательность и абсолютность. Это вечный поиск, вечное приближение к истине.

Когда Пришвин говорит: «Правда есть истина, ограниченная временем», «правды надо держаться — истину надо искать», — это не попытка удивить читателя парадоксами. В полном согласии с материалистической диалектикой писатель понимает правду как истину относительную, достигнутую людьми на сегодняшний день, проверенную опытом, подтвержденную практикой. Но истина относительная еще не вся истина. Она лишь часть *всей* истины, истины абсолютной, к достижению которой всегда устремлены создание и воля человека, которая завоевывается, расширяя пределы правды, но никогда не будет исчерпана, постигнута до конца. По Пришвину, истина — это та часть абсолютной истины, которая открывается нам сегодня, это как бы правда завтрашнего дня.

К ней, к этой завтрашней правде, и направлена творческая мысль художника. Обнимая прожитое, она опирается на весь духовный опыт человечества. Именно это дает ей силу устремляться вперед. Так стрела башенного крана тем протяженнее и надежнее, чем тяжелее уравновешивающий ее груз.

Вот откуда эта поразительная созвучность Пришвина нашей эпохе. Его записи сделаны не сторонним наблюдателем. В собственной душе, из глубин которой добывается художником необходимое людям слово, видит он отражение всемирно-исторических перемен, характеризующих непростой и нелегкий путь человечества из царства индивидуализма и эксплуатации в мир подлинной свободы и гуманизма. Пришвин глядел в самую суть, в корень.

«Вдруг понял, — записывает он однажды, — что слово *общество* заменяет нам теперь то, что раньше называли *человеком*. То самое, над чем я тружусь уже несколько лет: назвать одним словом всего человека (весь человек в одном лице в противоположность сверхчеловеку).

Но только у нас теперь под словом общество понимают организацию, между тем как всего человека я представляю себе как *организм*».

Прошлое, настоящее, будущее человека — все слито в одной фразе. Потому что Пришвин уловил не факт, а процесс. Процесс отрицания социалистическим обществом личности, сформированной в духе буржуазного индивидуализма, и одновременного рождения личности коммунистической, которая, совершенствýя себя, изменяет и самое общество. «Этика социализма, — замечает Пришвин, — в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого». Так по-своему выразил писатель гуманнейший смысл Великой Октябрьской революции, существо воспитательной деятельности ленинской партии, нацеленной на подъем самосознания каждого до высот человеческого духа, свободно обнимающего, как бы вбирающего в себя весь мир. Своей мыслью об обществе-организме, состоящем из личностей нового типа, сознательно и с полной самоотдачей выполняющих роли, которые необходимы обществу и к исполнению которых они наиболее способны, Пришвин отразил тенденцию наших дней, когда, как указывает Л. И. Брежнев, «с развитием социалистической демократии происходит постепенное перерастание нашей государственности в коммунистическое общественное самоуправление».

В своих книгах — будь то «Родники Берендея» или «Жень-шень», «Неодетая весна» или сказка-быль «Кладовая солнца», военная «Повесть нашего времени» или повесть-сказка «Корабельная чаща», романы «Кащеева цепь» и «Осударева дорога» или бесчисленные рассказы, очерки — Пришвин никогда не обращался к читателям, как к массе людей, подобно тому, как выступают ораторы на митингах. Он всегда обращался своим словом к отдельному конкретному человеку, лично к тебе, ко мне, к нему — к своему единомышленнику, другу.

«Есть книги для всех, и есть книги для каждого, — говорит Пришвин. — Для всех учебники, хрестоматии, для каждого книга — то зеркало, в которое он смотрится и сам себя узнает и познает в истине.

Книга для всех учит нас, как нам надо за правду стоять. Книга для каждого освещает наше личное движение к истине».

«Книгой для каждого» является все, написанное М. Пришвиным. Но эта книга — в особенности. Она составлена из дневниковых записей. «Дорогой к другу» называл Пришвин свой труд литератора. «Дорога к другу» — так названа и эта книга.

Дневники никогда не были для Пришвина сугубо частным делом. Он нисколько не походил на тех авторов-моралистов, которые убеждены в своем исключительном праве знать «все», а читателям предлагают кусочки препарированного по своему разумению знания. Все искания и сомнения Пришвина, все его радости, и открытия, и гнев, и боль, и поражения, и победы, и заблуждения, и восторги, любовь и отрицание с предельной искренностью отливались в слово и выносились на люди.

Это в нем, в Пришвине, сообразно ходу времени, совершался великий акт обновления и обогащения души, разрушались, отмирали рудименты старого индивидуалистического сознания и строилась новая личность. Дневники писателя — правдивейшее зеркало этого процесса, охватившего

всех без исключения граждан нашей страны. Вот почему для любого из нас эти записи — великолепная школа души. В ней мы учимся постигать красоту мира, открывать лучшее в себе самих и в окружающих нас людях, учимся быть счастливыми.

Ведь в сущности дневники, да и все творчество Пришвина — это глубоко поучительная картина пути отдельного человека к такому счастью, которое было бы не только своим особенным, личным, но и частью большого общего счастья людей на земле. Чувство радости жизни, родственное внимание ко всему сущему, умение творить радость для других — таковы, по Пришвину, некоторые совершенно обязательные условия для успеха в достижении счастья. Дорога к другу оказывается, таким образом, дорогой к счастью. Это путь художника слова к читателю, но также и путь каждого из нас к себе самому и к другому человеку, и к природе. Путь единения, взаимопонимания, сотрудничества, человеческой солидарности, поисков гармонии в себе и в мире и себя с миром.

Хотя мысль Пришвина часто отливается в форму афоризма, это не афоризм, не максимы в их традиционном значении. Не надо пытаться извлечь из пришвинских записей готовые формулы на все случаи жизни. Значение писательских раздумий как раз в том, что они будят мысль читателя, служат как бы трамплином для наших собственных раздумий и поисков. Ведь только мы сами можем определить свои координаты по отношению к природе, к ценностям культуры и цивилизации, к другим людям, как корабль определяет свое местоположение и курс по расположению небесных

светил. Записи Пришвина — как лоция и небесный свод для корабля. Но думать, решать капитан обязан сам.

Пришвинское слово нагружено мыслью и оттого нуждается в труде понимания. Легкомысленный взгляд неминуемо скользнет по поверхности. Необходимо усилие, чтобы проникнуть в глубину пришвинского слова. «Дорога к другу» должна стать вашей настольной книгой. Ее не нужно читать залпом, как роман. Лучше читать медленно, долго, понемногу, время от времени возвращаясь к прочитанному, как возвращаются к доброму собеседнику, к другу. И главное, читать с глубоким личным участием, — думая, сопоставляя слово писателя с собственным пониманием, мысленно примеряя сказанное к своей жизни.

«Дорога к другу» разделена на главы, как и все другие книги М. Пришвина. Но это деление, независимо от того, произведено оно самим писателем или составителем, всегда условно. Условны и названия глав. Книгу можно открыть на любой странице, начать чтение с любого абзаца. Ибо каждое высказывание в ней в определенном смысле автономно. Но в то же время все они — части единой и цельной системы пришвинского миропонимания, где все так же взаимосвязано и взаимообусловлено, как в реальной жизни.

Пришвин — классик. Теперь, по прошествии почти четверти века после смерти писателя, это можно утверждать с полной ответственностью. С годами небывало растут тиражи пришвинских книг. Но еще быстрее растет число читателей — друзей Пришвина. Потому что чем ближе наше общество к осуществлению коммунистического

идеала, тем нужнее становится нам Пришвин, тем значительнее его роль в нашей жизни.

Когда-то его считали слишком умиротворенным, слишком «добрым» для века, раскаленного огнем классовых битв. Писателю говорили, что он ошибается. Нужна была прозорливость великого Горького, чтобы увидеть в пришвинском творчестве не отставание от времени, а забегание вперед. Это Горький отвечал критикам Пришвина, что писатель вправе ошибаться «в сторону той правды... которая одна только и необходима людям, которой они и должны воодушевить самих себя...»

Сегодня эта правда — правда борьбы людей за справедливость, дружбу, доверие, мир — все прочнее овладевает сердцами. И в достижении этой правды почетное место принадлежит классику русской советской литературы, «поэту и мудрецу» Михаилу Пришвину.

И. Мотяшов



ОГЛАВЛЕНИЕ

Для среднего
и старшего возраста

Пришвин
Михаил Михайлович
ДОРОГА К ДРУГУ

Ответственный редактор
Н. Е. Прийма
и Е. В. Туинов
Художественный редактор
Г. П. Фильчаков
Технический редактор
З. П. Коренюк
Корректоры
В. Г. Арутюнянц
Т. Г. Шаховская

ИБ 6103

Сдано в набор 27.07.81. Подписано к печати 14.12.81. Формат 70×100[1]/[32]. Бумага офсетная № 1. Шрифт обыкновенный новый. печать офсетная. Усл. печ. л. 7,15. Усл. кр.-отт. 14,79. Уч.-изд. л. 6,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 221. Цена 35 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Пришвин М. М.

П 77 Дорога к другу: Дневники. — Переизд./ Сост. А. Григорьев; Послесл. И. Мотяшова; Рис. В. Звонцова. — Л.: Дет. лит., 1982. — 175 с., ил.

В пер.: 35 коп.

Дневники известного писателя-природоведа, которые знакомят юных читателей с богатством его мироощущения. Взаимосвязь природы, человека и искусства — основная тема дневников.

П $\frac{4803010102-114}{М101(03)-82}$ 316—82 Р2